PZ
Б73



. ДОЛЖНА БЫТЬ
ЩЕНА Н ПОЗЖЕ
ОГО З СЬ СРОКА

Ок

…енская Област.
БИБЛИОТЕКА
им. М. Ю. Лермонтова
Обязательный
экземпляр

А. А. БОГДАНОВ.

P1
Б

В СТАРОЙ ПЕНЗЕ

369018

ПЕНЗЕНСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1958

В 1959 году исполняется 20 лет со дня смерти нашего земляка, писателя-большевика Александра Алексеевича Богданова. В Пензе его именем названа одна из улиц, издан ряд произведений писателя.

В этом сборнике основное место занимают воспоминания писателя о старой Пензе, написанные в последние годы его жизни. Смерть помешала ему закончить работу, но и то, что публикуется, представляет большой интерес. В произведении дается колоритная картина быта и нравов провинциального дворянско-купеческого города 70—80-х гг. прошлого столетия.

В разделе статей и очерков публикуются отрывок из воспоминаний о незабываемой встрече с Владимиром Ильичем Лениным и сокращенный вариант очерка «Эх, Антон», имеющий прямое отношение к Пензенскому краю.

В статьях о литературе сообщается ряд интересных фактов из истории партийной, революционной печати.

Сборник такого рода издается впервые. В нем публикуются наиболее интересные материалы, имеющие отношение к жизни и деятельности писателя-революционера.

Предисловие к сборнику подготовлено племянницей А. А. Богданова Р. Поповой.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ БОГДАНОВ

(1874—1939)

I.

В один из ненастных осенних дней в редакцию петербургского прогрессивного журнала «Жизнь» пришел молодой человек с копной иссиня-черных волос и жгучими, блестящими глазами. По его костюму видно было, что он небогат, живет в провинции, много ходит пешком.

Посетитель держался скромно, но без угодливости. В руках у него была объемистая тетрадка в потертом клеенчатом переплете.

— Я — Богданов, — сказал он, волнуясь. — Мне хотелось бы видеть Максима Горького.

Хотя имя Богданов ничего не говорило редакционным служащим, а Горький, в то время уже известный писатель, был фактическим «хозяином» журнала, молодого человека сразу же провели в кабинет. Навстречу ему, из-за стола, заваленного рукописями, поднялся Алексей Максимович, тоже еще не старый, с длинными волосами, одетый в просторную русскую рубаху, подпоясанную ремнем, и высокие сапоги.

— Прошу, прошу,—приветливо заговорил он. — Слышал о вас, хорошее слышал...

Усадив гостя на диван, Горький сразу перешел к делу.

— А ну, читайте, — он кивнул на тетрадь. — Все читайте.

И молодой человек начал читать стихи. Они были наивными, порой детски-восторженными, зачастую слабыми по форме, со сбивчивым ритмом и примелькавшейся рифмой. Но было в них и другое, уловимое только для чуткого слуха, для большого, умного сердца: искренняя любовь к народу, нерисующаяся готовность бороться за него и с ним.

Горький внимательно слушал, ободряюще улыбался.

Тихим баском, окая, Алексей Максимович немногословно и деловито начал разбирать стихи. Сочинитель услышал разное: и похвальное и осуждающее. Но критика Горького не обижала. Знаменитый писатель говорил с начинающим поэтом как товарищ, как друг.

— Валяйте, продолжайте работать, — сказал он на прощанье, — а стихи ваши мы будем печатать.

Эта встреча, такая памятная для Александра Алексеевича Богданова, человека с яркой, замечательной биографией, произошла нака-

руне нового, двадцатого века, ранней осенью 1899 года. А уже в ноябрьской книжке журнала «Жизнь» появились стихи Богданова, появились и в декабрьской. Горький, как всегда, сдержал свое слово.

Так Богданов вошел в «большую литературу», вошел, сопровождаемый добрым напутствием великого писателя и человека, неутомимого собирателя всего честного и талантливого на Руси. И в дальнейшем, время от времени, писатель Богданов чувствовал тепло крепкой, дружески направляющей руки Горького.

Вот, уже из Нижнего, Горький возвращает своему «подопечному» рукопись рассказов. «Видно было, — вспоминал впоследствии А. А. Богданов, — что А. М. Горький прочел ее со вниманием. Были отмечены удачные места, против неудачных выражений стояли крыжики, а в ряде мест Алексей Максимович внес поправки своим прямым и четким бисерным почерком». К рукописи было приложено рекомендательное письмо к секретарю редакции журнала «Жизнь»,—в нем Горький давал и общую оценку творчества молодого писателя.

В тяжелые годы реакции Горький, сам страдающий от «свинцовых мерзостей» самодержавия, не забывает однако при случае послать своему товарищу ободряющее письмо. «Что бы вас ни опрокидывало, не поддавайтесь»,—пишет он А. А. Богданову из-за границы. И хотя к тому времени Богданов был уже не тем пылким, неопытным юношей, каким он явился впервые в редакцию петербургского журнала, а закаленным революционером-подпольщиком, все равно дружеское участие Горького трогало и согревало душу, вливало новые силы.

II.

О чем же писал молодой Александр Богданов в своих стихах и рассказах?

Сюжеты были различные: расслоение крестьянства, несчастная жизнь батраков, тупоумие провинциальных обывателей, распутство помещиков. Говорилось (преимущественно в стихах) и о сугубо-личном, интимном: о любви чистой, о любви самоотверженной, о любви неразделенной.

Но все это было пронизано единым чувством — неудовлетворенностью существующими формами жизни, жгучей ненавистью к произволу «сильных мира сего» — к сытым, богатым, хищным. И, наоборот, как утверждение идеала, звучал призыв к борьбе за народное счастье. Правда, этот призыв был выражен несколько туманно, в виде намеков или общих фраз, но «проницательный читатель» того времени, особенно революционно-настроенная молодежь, быстро нащупывал подлинный смысл произведения.

Стихи и рассказы Богданова завоевывают популярность. Их начинают печатать не только в «Жизни», но и в других прогрессивных журналах. «Левые» критики — Богданович, Соловьев-Андреевич и другие замечают талантливого «волжанина» (часто Богданов подписывался псевдонимом А. Волжский), приветствуют его, хвалят. В особую заслугу молодому автору они ставят его умение подсмотреть характерные особенности деревенской жизни, русского быта.

Но, вероятно, немногие из них знали, что Богданову не нужно было «подсматривать», что он сам был, в известной мере, «действующим лицом» каждого из своих произведений. За плечами

Александра Богданова, которому едва исполнилось двадцать пять лет, стояла большая, трудная жизнь.

...Он рано стал взрослым. В пору, когда его сверстники гимназисты и семинаристы еще гоняли голубей, он уже задумывался над жизнью, много читал. Его юношескими кумирами были революционные демократы, особенно Некрасов. Он зачитывался очерками Г. Успенского, статьями Лаврова и других «властителей дум» современного ему поколения. Сам он был сыном обнищавшего, опустившегося провинциального интеллигента — «бездипломного адвоката», выросшим в большой семье, под крышей ветхого домика на одной из окраинных пензенских улиц, где жили «низы» — мещане, мастеровые, мелкие чиновники. С детства он узнал, что такое нужда, как трудно, порою горькой ценой унижения, достается кусок насущного хлеба. С детства он слышал плач обездоленных и разоренных людей, хриплые песни и ругань пьяных, искавших в водке забвения, начальственные крики околоточных, грозивших тюрьмой и Сибирью. Мальчиком он болезненно переживал трагедию своих близких — отца и матери, был потрясен страшной участью денщика Тюляя, замученного звероподобным офицером, и казнью крестьян, восставших против жестокостей управителя-немца...

Поэтому не удивительно, что юноша Богданов жадно потянулся к литературе, обличавшей несправедливость, царящую в русской общественной жизни, порицавшей угнетение человека человеком и звавшей к борьбе. К какой борьбе, какими средствами и методами,—над этим он тогда не раздумывал. Писатели, которые в восьмидесятых годах «задавали тон» в литературе и пользовались огромной популярностью у молодежи, говорили: иди в народ, просвещай его, буди! «Хождение в народ», в деревню, с целью приобщения крестьянина к книге было модой, казалось единственным средством «разбудить Россию», и Александр Богданов, юноша впечатлительный и деятельный, без колебаний пошел по этому пути

Богданов ушел из города Пензы в село Спасско-Александровское* и стал сельским учителем. Днем, собрав в холодном классе, за учебником, крестьянских детей, застенчивых и смекалистых, упрямых и пытливых Ваняток и Машенек, он вводил их в таинственный и заманчивый мир незнакомых слов, понятий и цифр, рассказывал о далеких больших городах, о морях и океанах, о звездах, на которых, возможно, тоже есть жизнь. И читал стихи,—от них сладкой болью сжимались и бились сильнее маленькие сердца. Некрасов, Пушкин, Кольцов... Молодой учитель, черноволосый, черноглазый, в коротком, блестящем на локтях «городском» пиджачке и стоптанных штиблетах, говорил горячо и убедительно. Он сеял «разумное, доброе, вечное»...

А вечером, оставшись один, он садился писать. В трубе завывал ветер, дрожало пламя в керосиновой лампочке, а из-под пера молодого учителя бежали и бежали торопливые строчки. В этих строчках заново оживало виденное и слышанное: угрюмый деревенский быт, грубая брань мужчин и плач женщин, самодурство богатея, звонкая песня за рекой и чистая детская мечта. Учитель писал о народе, среди которого он жил. Писал правду, как завещал ему Некрасов, как учил его — еще незримо, примером своих книг — Максим Горький...

И часто из села шли в Петербург заказные письма с рукопися-

---

* Ныне Кондольского района, Пензенской области

ми—это Богданов посылал в редакции столичных газет и журналов свои сочинения, которые, увы, пока никто не печатал. Местное начальство — староста и урядник — посмеивалось: «Мели, Емеля». А молодой учитель, шагая к себе в школу, радостно потирал озябшие руки и повторял — про себя — заветные стихи о том, что «счастье в борьбе состоит».

Кто знает, может быть, в такой—народнической—«борьбе» Богданов обрел бы свое единственное счастье, или, наоборот, со временем погряз в быту, ожесточился бы от неудач и стал таким же обывателем, как и его отец, бывший народник. Но жизнь вскоре толкнула Богданова на путь другой борьбы, в которой он нашел свое настоящее призвание и неизмеримо большее счастье.

III.

В 1896 году Богданова познакомили с Н. Э. Бауманом. Бауман— молодой, серьезный, с веселым, открытым взглядом и умной, спокойной речью — произвел на Александра Алексеевича большое впечатление. Народники, порицавшие Баумана за его принадлежность к новой партии — партии русских социал-демократов, показались вдруг Богданову старомодными и узкими начетчиками. А почему, действительно, надо цепляться за идею «крестьянской революции»? Может быть, марксист Бауман прав, что наиболее революционным классом в России является молодой пролетариат, рабочие заводов и фабрик, свободные от всякого чувства собственности.

Богданов начал искать, потянулся к марксистской литературе, стал пристально приглядываться к жизни пролетариата, деятельности рабочих кружков. А летом 1897 года учитель-энтузиаст получил первое боевое крещение: за распространение среди крестьян села Спасско-Александровского «недозволенных» книг жандармы арестовали его и заключили в саратовскую тюрьму.

Из тюрьмы Богданов вышел больной, с окончательно поколебленной верой в возможность медленно, через «просвещение» деревни и крестьянскую общину, прийти к смене существующего строя. Нет, нужны другие, решительные меры! И поняв это, Богданов отдаляется от народников, вступает на новый, социал-демократический путь.

Встреча с Горьким укрепила его веру в правильность выбора. Да, его место там, в строю русских рабочих, идущих на решительный штурм царизма. Теперь он живет преимущественно в городах и работает по заданиям партии. Он становится профессиональным революционером.

Уже в 1900 году он пишет «Песню пролетариев», в которой прямо звучит призыв к организованной революционной борьбе.

Богданов проводит митинги на фабриках и заводах, в железнодорожных и судоремонтных мастерских, преподает в рабочих кружках, пишет листовки, воззвания, прокламации. Эта кипучая, опасная деятельность захватывает его целиком. Писать что-нибудь крупное — повесть, роман, поэму — теперь почти не приходится. Нет времени, да и жандармы следуют по пятам, заставляют то и дело менять квартиры, прятаться по чужим углам под чужой фамилией.

И все же неугомонная жажда художественного творчества бурлит в груди, заставляя иногда, «в антрактах», взяться за перо. Урывками, тайком, пряча написанное — по страницам — у различных знакомых, писатель-революционер создает вдохновенное историческое

исследование о декабристах, пишет поэму «Коммуна», начинает работу над объемистой трилогией «Бездомные»...

Иногда произведения Богданова появляются в печати, в легальных газетах и журналах, но уже не под его настоящим именем, а под псевдонимами — А. Б., Альфа, Буква, Волгин, Прибой... Всего двадцать один псевдоним!

Большинство рукописей Богданова гибнет. Бесследно пропали в охранке конфискованные при обыске юношеская поэма «Порка» и несколько тетрадей со стихами и рассказами. В 1902 году в Саратове провалился нелегальный склад РСДРП, и среди документов, взятых полицией в качестве «улик», была рукопись книги о декабристах.* Погибли и другие рукописи — почти все, что создано в эти годы ценой бессонных ночей, упорного, подвижнического труда.

«Это было для меня почти как расстрел...» — говорил Богданов. Тот, кто когда-нибудь написал хотя бы один рассказ, одно стихотворение в жизни, поймет эту боль!

Стиснув зубы, писатель-революционер превозмогает все невзгоды. Он готов отречься от личной жизни, не хочет обременять себя ничем, что может помешать ему быть всегда «на боевом взводе» — готовым нанести самому удар или стойко принять его от врага...

Революционер, большевик (А. Богданов с момента вступления в РСДРП твердо стоял на ленинских позициях), он искренне убежден, что не может, не имеет права даже думать о своем счастье, пока народ страдает под пятой царизма.

Богданов был не одинок в своих взглядах: в то время (да и не только тогда) многие честные, преданные делу товарищи считали, что настоящий революционер должен быть «железным» человеком типа Рахметова...**

Но вот Богданов в тяжелое для партии время, накануне подавления царизмом первой русской революции, в 1906 году в Таммерфорсе встречается с Владимиром Ильичем Лениным.***

«В одну из свободных минут, — вспоминает Александр Алексеевич, — Ильич выбрал время, чтобы прослушать несколько моих революционных стихотворений. Это было после одного из фракционных совещаний...».

Обстановка была простая: вождь партии сидел в кулуарах, на столе, в окружении товарищей, а поэт читал стихи, записанные в заветную, видавшую виды тетрадь.

Владимир Ильич отнесся к большинству стихов одобрительно. Не считая себя знатоком поэтической формы, он говорил с поэтом преимущественно о содержании произведений. Между прочим, дорогой автор, — сказал Ильич, дружески-испытующе посматривая на Александра Алексеевича, — в этом стихотворении, где вы хотите отказаться от любви и счастья, когда «гибнут кругом», звучат старые интеллигентские перепевы. Что это — отрыжка народничества?

Богданов признался, что действительно в юности увлекался народничеством.

Ильич улыбнулся:

---

* Рукопись обнаружена в 1949 году в быв. жандармском архиве в Саратове.

** Герой романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

*** А. А. Богданов, активный участник революции 1905—1907 гг., был делегатом от Поволжья на Таммерфорской и Гельсингфорской конференциях и вел борьбу против меньшевиков.

— Ну вот, значит, я прав.

И заговорил о том, что марксисту должно быть чуждо настроение «жертвенности», этакое добровольное отгораживание себя от радостей жизни. Нет, сказал Ильич, марксист прежде всего живой человек, чувствующий полно и широко гармонию жизни. Умную и красивую гармонию..

Как много дали Богданову — писателю, революционеру, человеку — эта и последующие встречи с Ильичем! Александр Алексеевич, будучи уже стариком, вспоминал их, восстанавливая до мельчайших деталей, словно это было вчера. Он вдохновенно писал о них, и еще лучше — рассказывал.

IV.

Александр Алексеевич Богданов прошел вместе с партией сорокалетний — трудный и славный — путь.

Вот основные этапы этого пути.

1901 — 1904 гг. Арест и заключение в «Крестах» и «Предварилке», затем высылка в Саратов. В Саратове Богданов ведет активную подпольную работу по заданиям центра.

1905 г. Снова тюрьма — за участие в революции. Освобожден в связи с манифестом 17 октября.

1906 год. С начала января по май — в тюрьме. Освобожден на поруки. Тайно переезжает в Самару, где живет по чужому паспорту. Участвует от Поволжья в Таммерфорской конференции РСДРП, где вместе с другими ленинцами борется против соглашателей-меньшевиков. Ведет работу среди крестьян, проводит на местах съезды и конференции.

1907 год. Редактирует большевистскую газету «Самарская Лука». Арестован (на три месяца). Отбыв заключение, едет делегатом от Самары на Лондонский съезд РСДРП. Но на явке у одного из товарищей снова арестован и по этапу препровожден обратно в Самару. Осенью освобожден, после чего принял участие в общероссийской Гельсингфорской конференции. По поручению В. И. Ленина пишет статью в газету «Пролетарий» (под псевдонимом А. Волжский). Возвращаясь с конференции, арестован.

1908 год встретил в тюрьме. Из тюрьмы освобожден под залог, живет три месяца в Казани, редактируя журнал «Волжское утро». Суд приговаривает А. А. Богданова за активное участие в революции 1905 года к заключению в крепости.

1909 год. Богданов (при помощи В. Д. Бонч-Бруевича) бежит в Финляндию, где живет под чужим именем.

1910 — 1916 гг. Литературная работа. Работа для «Правды» и других большевистских изданий, с которыми держит связь через А. П. Скляренко, К. Н. Самойлову, В. Д. Бонч-Бруевича, Н. И. Подвойского и других товарищей по партии.

1917 год. Сразу же после февральских событий приезжает в Петроград, входит в редакцию журнала «Вперед». По списку «красных» избран «товарищем городского головы» Василеостровского района Петрограда. Один из инициаторов создания при «Правде» Общества пролетарских искусств (впоследствии Пролеткульт). Накануне Октябрьской революции в Петрограде едет по заданию партии в г. Красноярск.

1918 год встретил в Сибири, где ведет активную партийную революционную работу, участвует в совещаниях с сибирскими большевиками. В ходе наступления белочехов отрезан от советской России. Редактирует большевистский журнал «Сибирский горнорабочий» и газету «Железнодорожник». Член Сибирского бюро профсоюзов. Контрреволюционные власти дают приказ об аресте Богданова. Богданов тайно уезжает во Владивосток. Создается версия, что он убит: в московских и петроградских газетах и журналах опубликован некролог о расстреле тов. А. А. Богданова белыми.

1919 год. Ведет партийную и профсоюзную работу во Владивостоке. Подвергается преследованиям белого атамана Иванова-Ринова и уходит в подполье. Белобандиты объявляют: «Богданов схвачен». Но оказалось, что вместо Александра Алексеевича Богданова ими схвачен... артельщик городской управы, однофамилец большевика.

1920 год. Участвует в освобождении Владивостока от белых, возглавляет дальневосточный Пролеткульт, ведет партийную и профсоюзную работу.

1921 — 1922 годы. Редактирует ряд дальневосточных газет. Реорганизует Русско-китайское общество и, возглавляя его, способствует совместной русско-китайской борьбе против японской интервенции.

1922 — 1923 годы. Редактирует газету «Приморский крестьянин», орган Приморского губкома и губисполкома.

С 1925 года — в Москве, на партийной и общественной работе в литературных организациях советской столицы.

...Это, так сказать, краткий конспект. Если вдуматься, то за каждой строчкой, за каждой буквой его встают события, составляющие величайший исторический поворот в судьбе России и человечества.

Невиданно героическую борьбу вела партия Ленина, чтобы свергнуть власть царя, помещиков и капиталистов. Участники этой борьбы были с точки зрения обывателей людьми «необыкновенными», поскольку они проявляли такую самоотверженность, такую беззаветную преданность идее, какие не укладывались в сознании даже самых «смелых» буржуазных мечтателей и фантастов.

Но мы знаем, что эти замечательные борцы были в жизни простыми, доступными людьми, умевшими мыслить шире и чувствовать глубже, чем все их «оппоненты» и критики, вместе взятые.

Они проникновенно любили свою родину, места, где они родились и провели детство, учителей, которые привили им жажду знаний, своих близких, товарищей и друзей. Они не могли проходить равнодушно мимо уродств жизни, мимо злобной жестокости, шовинизма, предательства, которые процветали в царской России. Отсюда, от их решимости сознательно разрушить старый мир с его господством капитала и построить мир новый, коммунистический, воплощающий в себе вековую прекрасную мечту человечества, — именно отсюда шли их героизм, дружеская спайка, неугасимая бодрость духа.

V.

Александр Алексеевич Богданов — один из старейших бойцов-ленинцев — был таким человеком. Он страстно любил свой край и гордился им. Пенза, Среднее Поволжье, Саратов — вот его самые заветные места. Недаром он именовал себя А. Волжский, недаром

почти все литературные произведения посвятил описанию жизни своих земляков. Все, что им написано, — от юношеской поэмы «Порка» до мемуаров, над которыми он работал в последние годы жизни, — носит на себе отпечаток местного колорита. То мы узнаем его в языке персонажей, в особом—неторопливом и обстоятельном—складе речи, то в описании деталей быта, то в характерном названии места или в прозвище человека...

Первая часть мемуаров — «В старой Пензе»—непосредственно воссоздает жизнь города, где Александр Алексеевич провел свои детство и юность. С изумительной свежестью чувства повествует Богданов о людях и событиях, оставшихся далеко в прошлом. Как живые, встают перед читателем родители мальчика Сани—мать Надежда Александровна, тихая, кроткая, добрая женщина, изумительно терпеливая и стойкая, несущая в глубине сердца огонек любви и веры, и отец Алексей Христофорович — мрачный, больной, дикий в гневе человек, способный от природы, но растерявший идеалы и раздавленный жизнью. Видим мы и других героев — няньку-сказочницу Филимоновну, женщину с некрасивым, изрытым оспой лицом, но прекрасной, «певучей» душой; свободолюбивую, независимую в суждениях, наделенную артистическим даром бабушку будущего писателя; «русобородого весельчака, вечного студента» дядю Володю... Но наряду с представителями «светлого царства» — матерью, Филимоновной, бабушкой, — писатель ярко, не скрывая гнева, рисует отвратительные образы «столпов» дворянско-купеческой Пензы: надменных, жестоких помещиков, наглого и циничного дьякона Успенского, изощренного садиста-офицера... Чувствуется душная, спертая атмосфера, которая должна разрядиться грозой. Признаки надвигающейся бури заметны не только в проявлениях явного или скрытого протеста народа против угнетателей (возмездие крестьян управителю-немцу, самоубийство денщика Тюляя и др.), но, прежде всего, в росте демократических, революционных настроений, которые передаются от окружающих мальчику Сане. Как дыхание вольного ветра, освежают душу ребенка разговоры взрослых о грядущих событиях. Мальчик сопоставляет услышанное с жизнью, жадно набрасывается на книги, зовущие к активному действию, пытается разобраться в сложных чувствах, переполняющих его душу. Где правда, где счастье? — лихорадочно думает он, вчитываясь с недетской серьезностью в книги любимых писателей...

Детство кончилось. Шестнадцатилетним юношей, на пороге самостоятельной жизни, он записывает в дневник:

Юность с корыстью не знается,
Юность расчета бежит,
Страстностью сила рождается,
Сила в борьбе укрепляется,
Счастье в борьбе состоит!

Полюбившиеся строки становятся девизом в жизни. С ними, в сердце и на устах, Богданов идет навстречу своей трудной, мятежной, завидной судьбе....

Прямое отношение к пензенской земле и ее людям имеет очерк Богданова «Эх, Антон!», отрывок из которого впервые публикуется в данном сборнике. Очерк был написан Александром Алексеевичем в конце 1930 (или в начале 1931) года, в результате неоднократных поездок писателя в село Спасско-Александровское. Трагична и в то

же время поучительна, говорит Богданов, судьба Антона Чиркина, стихийного борца и мечтателя. Писатель проводит параллель — разное отношение к своему личному горю у Антона и сознательного борца-коммуниста Николая Островского. Эта параллель, возможно, покажется наивной. Но для Богданова и в старости были характерными необыкновенно светлый, прямо-таки юношеский оптимизм и безграничная вера в возможности «организованной воли» человека. Проявлялись они не только в словах, — свои недуги Александр Алексеевич переносил исключительно стойко.

До последнего дня жизни Богданов работал над рукописями — как новыми, так и старыми, уже опубликованными. Готовя к изданию книгой статьи по вопросам революционной литературы, напечатанные в свое время в различных газетах и журналах, он перечитывал их сам, давал перечитывать своим близким, особенно молодежи, и все интересовался: не устарели ли они. Ведь жизнь так бурно идет вперед, говорил он, радуясь каждому газетному сообщению о новом заводе, новой хорошей книге, или о новом рекорде рабочего, летчика, спортсмена — любого советского человека. И сам он хотел быть всегда молодым — и в своих чувствах, и в своих строчках.

Таким он и остался в памяти всех, кто знал его в последние годы: шапка седых волос и — детски-доверчивая улыбка, звонкий голос, лучистый взгляд больших темных глаз.

Говоря о Богданове, перечитывая его произведения, слушая рассказы людей, работавших вместе с ним, всегда вспоминаешь одно из писем, где старый партийный товарищ и друг Александра Алексеевича Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич назвал Богданова «непреклонным борцом и революционером-коммунистом», человеком «высокой духовной красоты». И еще одно письмо, где сказано, что Владимир Ильич Ленин «всегда очень хорошо к нему относился».

Больше и лучше этого об Александре Алексеевиче Богданове не скажешь.

Р. ПОПОВА

В СТАРОЙ ПЕНЗЕ

1.

Медоносными липами архиерейского сада, бузиной и акациями обывательских палисадников курчавилась гора. Почти на самой ее вершине ютился наш деревянный флигелек, облепленный, как пластырем, ветхой горбыльной завалиной.

Три окна — три глазастых бельма, — и серый флигелек казался похожим на пень-дупляник. А пожалуй, и на гриб-боровик. Обомшелая и полинявшая от дождей и ветров крыша — совсем как шапка деда-боровика! И если залезть на крышу, то видно, что именно к деду-боровику сходятся городские улицы. Да что улицы! Дальше, за городом, сходились к подножью горы все дороги мира, какие только могли существовать в детском воображении. Если где-нибудь и был «пуп земли», то, наверное, он находился на нашей замечательной горе.

В жаркие летние дни я видел, как мирными стадами паслись под пригревом солнышка ближние деревеньки: Терновка и Валяевка, с разбросанными избами и ометами. Убегали в голубую даль сизые квадраты пашен и бахчей... Поблескивали тиховодные речушки, перегороженные дырявыми мельницами. А еще дальше — фиолетово-стеклянная зыбь марева и черная роковая черта: конец небу, провал, неизвестность, а может быть, Москва, куда всю жизнь собиралась и никак не могла выехать больная мать.

Мне было лет семь, когда в казенном учебнике Смирнова я вычитал, что Пенза замечательна живописным местоположением, обилием садов и учебных заведений,

после чего мое сердце преисполнилось патриотической гордостью.

Жесткий социальный смысл «мирной идиллии» захолустья был мне еще непонятен, но в сознание врезались отдельные отрывки из сатир бессмертного Щедрина, описавшего Пензу, как чиновничье гнездо и дворянскую вотчину.

Произошло это вот как.

В длинные зимние вечера у нас почти каждодневно устраивались литературные чтения. Любовь к литературе в соловьевском роду была, можно сказать, фамильной. Приходила двоюродная бабушка Александра Васильевна Астрова (рожденная Соловьева), большая поклонница Щедрина, знавшая наизусть, благодаря хорошей памяти, многие из его произведений. Приходила вдвоем с дядей Володей, русобородым весельчаком. А вместе с ними врывались в семью острые каламбурные словечки, а иногда даже целый отрывок из Щедрина.

Александра Васильевна артистически воспроизводила щедринских героев. Рассказывая, она энергично жестикулировала большими, пухлыми красивыми руками (она была акушеркой), как будто маленькая наша каморка теснила ее, и она хотела раздвинуть стены.

Было много мужского в ее финско-монгольском лице,[1] в твердой осанке и даже привычке выпивать перед едой две-три рюмки водки (опять-таки фамильная привычка Соловьевых, получившая болезненный характер у дяди Евгения Андреевича Соловьева, одного из первых марксистских критиков, который умер в начале 900-х годов).

Взгромоздившись на сундук, покрытый грубым, полосатым деревенским ковриком, я жадно пил сладкую бабушкину речь и широкими глазами смотрел в ее большой и круглый двигающийся рот.

— Наденька, — обращалась бабушка к матери. — А ведь это про наших пензенских правителей написано. «Р-ра-з-зо-рю! Не потер-плю... П-плю!».

Очень нравилось мне слово: «П-п-лю!».

И особенно весело было слушать про пошехонцев, как они в реке толокно месили, щуку на яйца садили, блинами острог конопатили...

«Вот дураки, — думал я. — Сколько толокна даром пропало. Вот бы мне такой острог!»

---

[1] По семейным преданиям, прадед был финн.

Так я познакомился со многими персонажами щедринских сатир: Органчиком, Угрюм-Бурчеевым, с Араповым, Селивановыми, Гевличами, которые славились балами, породистыми рысаками, борзыми собаками и женами, ездили друг к другу в гости, плодились и множились, — пока с утверждением господства «чумазого» не началось оскудение дворянских родов.

Изредка на улице я заглядывался на запряженных в дышла селивановских рысаков, с лебедиными изгибающимися шеями и в яблочных пятнах на холеных лоснящихся крупах. Вороненым блеском сияли лакированные крылья рессорной коляски... А особенно красивым казался мне кучер на козлах, в бархатной безрукавке с золотисто-синим, играющим радугой, павлиньим пером. Павлинье перо стало предметом моих заветных мечтаний. Как я досадовал, что такого пера не было ни у одного из моих знакомых петухов, которым выдирал хвосты мой приятель и уличный забияка Мишка.

Сказочное и фантастическое переплеталось с действительностью, и я не знал, где начинаются и где стираются грани между воображаемым и былью, между Органчиками и Селивановыми.

Я выдумывал игру.

Из мякиша черного хлеба вылепливал фигурку Органчика со страшной звериной пастью. А когда фигурка засыхала, раскрашивал ее желтыми, красными или синими полосами и тыкал мордой в песочную кучу, приговаривая:

— Не по-терп-плю! П-плю... п-п-лю!

Или же напевал бессмысленные стихи-коротышки, которые так любил сочинять в раннем детстве:

Сплю-сплю-сплю!
Плю! плю!
Не потерп-лю.

Наигравшись, я отламывал Органчику голову, крошил туловище на куски и бросал злой, с белой оторочкой на груди, собаке, которая жила на привязи в конуре.

2.

Пенза не может пожаловаться на писательское невнимание к ней.

С беспощадным сарказмом революционного демократа-разночинца писал о Пензе Щедрин, служивший в ней

некоторое время. На фоне именно пензенской обывательщины и создавались в его воображении отдельные типы пошехонцев и глуповцев.

В красочных рассказах наивно-доброго и странного, так неудачно изломавшего свою жизнь Алексея Михайловича Ремизова рычит и по-звериному встала на дыбы прежняя пензенская медвежья косность.

Как-то раз Алексей Михайлович показал мне свои рукописи, не столько написанные, сколько тщательно нарисованные полууставными буквами. Немножко горбясь и с конфузливой детскостью, он объяснял, что вот эта узорная киноварная живопись куда как лучше, чем шаблонные печатные строчки «ремингтона» с их «скучной» солдатской выправкой. На меня повеяло тленом монастырских скитов, келий, пещер. Из-за угловатых букв, как из-за старорусских светелок и башен чудились лица блаженных и уродцев, которыми увлекались тогдашние «почвенники» — А. М. Ремизов, Ф. Соллогуб, в отличие от «западников» и «новаторов», воспевавших экзотику «негритянок» (Л. Андреев), сверхницшеанство (З. Гиппиус), ананасы в шампанском (Игорь Северянин). Правда, в прежнем «новаторстве», равно как и в новаторстве всех последующих формалистов разных времен, те же, по существу, тлен и гниль, то же разложение, только не феодального, а умирающего капиталистического бытия.

Мелочь, но я почувствовал тогда, как издыхающая старь крепко вросла, вгрызлась звериными зубами и когтями в мозг талантливого писателя, в котором я ценил простоту, понял, что, находясь в «обезьяньих лапах» прошлого, трудно А. М. Ремизову идти в ногу с эпохой.

Считаю большой бедой для себя, что и я на первых порах литературной деятельности оказался в плену прошлого, во власти первых впечатлений детства, главным образом, из этих впечатлений я и черпал свои сюжеты, типы, образы. Есть мнение, что таков удел большинства писателей прошлого. И пожалуй, это верно...

Добрая половина написанного мною в первый период работы взята из материала Пензы («Поповы сироты», «Волжская кипень» и др.) и не возвышается над уровнем бытовизма. Нудная, тоскливая жизнь мещанина!

Дело не в тематике: мещанин — мировая фигура, мещанин — враг до наших дней. Дело в том, что к теме о мещанстве надо подходить с больших мировоззренческих

высот, на что правильно указывал М. Горький в своих статьях о мещанстве. А я в то время не оказался на должной высоте.

Во всех художественных произведениях о Пензе, — больших и малых, талантливых и шаблонных, занимательных и скучных, в сатире, в лирике, в эпосе, — сплошь мрачный фон. Из перечитанного вороха мерцает в памяти, как сусальное пятно, единственное в светлых тонах написанное произведение. Это повесть «Не от мира сего», помещенная в либерально-академическом журнале «Вестник Европы». Впоследствии я познакомился с ее автором Н. Е. Панчулидзевой (рожденной Полторацкой). Повесть попала на страницы журнала благодаря протекции (нрава того времени!) академика А. Н. Пыпина.

Автор — бард родовитого дворянства — в тоне «казенного благополучия и прекраснодушного сентиментализма» делает попытку показать дворянскую культуру с выборами, балами и не существующей салонной героиней, — бледное эклектическое подражание не то пушкинской Татьяне, не то тургеневской Лизе.

3.

Сквозь призмы сегодняшних взлетов строительства, сегодняшнего осознания жизни проходят узорчатые куски прошлого, и вот как рисуется мне Пенза конца 70-х и начала 80-х годов.

Тяжелая, неповоротливая поступь истории оставляла от каждой эпохи свои памятники, свои следы. Прошлое разрушалось, оставляло руины; на месте разрушенного или рядом с ним воздвигалось другое. И все это нагромождалось в одну хаотичную кучу.

По памятникам можно читать. Памятники рассказывают, какими рабскими, феодально-ленивыми темпами, непохожими на бег наших дней, шла жизнь

Самый древний памятник пензенской старины — земляные валы, обошедшие город с двух сторон: около реки Суры и вдоль городского леса — «Засеки». Наследие времен Пугачева, а может быть, даже татарского нашествия. Местами валы осыпались. На лысых, вытоптанных взлобках даже ковыль не серебрился, а торчало сухое будылье коряжника, обглоданного козами.

Склоны валов поросли сорными травами. И только в

овражках бродила темная древняя сила, источала сладкие земляные соки, трещала бурьянами, расползалась густыми темно-зелеными плетями ежевики. Овражки считались нечистыми. От них веяло языческими преданиями, а старожилы передавали страшные были о разбойниках и кладах.

Бывало, по вечерам безродная рябая Филимоновна, жившая, как свой человек, в нашей семье, рассказывала, щуря глубокие глаза на морщинистом лице и поправляя желтый выцветший платок на голове-луковке:

— А случается это единожды в три года. Примечали люди: как из березы сладкий сок потечет, — в ту пору в неурочный час выходит на вал Стар-Перестар. Голова у Стара — котел чугунный, борода у Стара — кудель-мочало. Лицо — ровно угодника, а ноги козловии. И на ногах не бахилы какие, а черепки глиняны.

Где Стар пройдет, там лес гудет. В руках у Стара огромная чара зелена вина полным-полна. Кому из чары пить, тому живу не быть. Не вино, а кровь человечья!

Только надо, милые мои, ту чару выплеснуть, а Стара наотмашь по голове вдарить: «Чур, чур, перечур! Твой котел медный, я человек бедный. Огонь, огонь, бедного человека не тронь. Чур-чур-перечур». Тогда рассыплется Стар белым серебром, голова-котел—червонным золотом, а глиняны черепки — медными гривнами...

Сказка рабов, в которой жалкие, бедные люди утешали себя призрачной возможностью разбогатеть! Но была в этой сказке и народная мудрость, утверждавшая жестокую истину, что цена золота — цена человеческой крови

К югу от города — следы эпохи екатерининских и аракчеевских времен: вдоль столбовой дороги несколько поседевших от времени дуплястых берез и верб.

Иные поэты и прозаики с лирическим умилением внимали шепоту и звону березок: они искали чарующую гармонию мира, звуки которой заглушали бы кандальный звон крепостных, сгоняемых плетями и батогами для работ.

Как-то раз, в Куоккале, в серенький предосенний день, я беседовал на эту тему с В. Г. Короленко. Мы сидели на деревянной скамейке, близ дачи «Козлночка», где жил Владимир Галактионович вместе с Н. Ф. Анненским. А я в те годы нелегально спасался в Финляндии от жандармских преследований.

360018

— Вы слишком мрачно изображаете жизнь... — тихо говорил Владимир Галактионович, пожимаясь от холода в своем широком пальто и оглядывая меня мягко и словно сожалеюще. — Вы смотрите на все сквозь темные очки...

— Что ж делать! Такова действительность, — возразил я.

— Наша жизнь, конечно, тяжела... Но не думаете ли вы, что односторонне сгущаете краски? — речь зашла о моей повести «Морока».

Владимир Галактионович был неправ принципиально, но он верно определял характер моего творчества: сознательно и намеренно я выпирал в своих произведениях на первый план жестокости прошлого, злую стихию борьбы против примиряющего эклектизма, против Канта. Думается, даже недостаточно выпирал.

Вот и теперь, в своих описаниях прошлого, я не могу взять успокоительно-ласкающих красок...

Большим горбатым чудовищем чернел Бригадирский мост, оскалив бревенчатые ледорезы над мелководной речушкой Пензой. Как фамилия бригадира? Патрикеев? Фризе? Кому из потомков нужна его бесславная фамилия? И вообще, может быть, никакого бригадира не существовало на свете, все это чепуха, да и самый мост тоже был чепушной постройкой, — в сильное водополье его сносило. Но, по-видимому, кому-то просто хотелось показать, что вот, мол, знайте, жила здесь, когда-то особая разновидность служилых людей, вроде Добчинских и Бобчинских, носивших высокое звание бригадиров, и надо же их увсковечить в истории...

А вот уцелевшие реликвии эпохи Александра «Благословенного». На въезде в город, у Тамбовской заставы, стоят два полуразрушенных каменных столба. Когда-то здесь были царские ворота с аркой, барельефами и позолоченными двуглавыми орлами. От времени позолота стерлась, гербы обломались, растрепанные птицы выглядели жалко. Беспризорные ребята, среди них и я с товарищами, дерзко упражнялись в стрельбе, бросая камни в горделивых птиц, символизировавших «мощь» царской державы.

Ну, а какие памятники поставлены в честь народа, который — шутка сказать! — на протяжении целого ряда столетий трудился, создавая ценности, и кормил страну?

Вместо блестящих монументов, жизнь увековечивала в других памятниках нищету, бесправие, страдания, ужас, темноту...

Вокруг зеленеющих садов, вокруг улиц Губернаторской, Дворянской, Московской, Троицкой, Лекарской, Соборной и прочих и прочих с благородными наименованиями, гордо выстроившихся в центре прямыми шеренгами, как чиновники на параде, вокруг церковок, присутственных мест и полицейских участков расползлись под горой заразные, темные и заболоченные улочки и переулки с презрительными кличками, какие мог придумать только неограниченный властелин для бесправного холопа. Это улицы Гусиловка, Вопиловка, Инвалидная слобода, Козье болото, Вшивая горка, озеро Ерия и, наконец, протекающая среди свалок зловонная речушка с неудобопроизносимым названием (выражаясь более благопристойно, — Портомойка).

А за городом, по пути к кладбищу — Земляному валу, находились «Чертовы ямы». Здесь добывали глину первобытным способом, прокапывая в почве опасные, глубокие норы, куда иногда в непогоду прятались беспризорники, жулики, пьянчужки и золоторотцы. Частыми обвалами пластов засыпало глинокопов. Технического надзора и вообще никаких правил охраны не существовало. Каждое лето уносило много жертв, и никому до них не было дела.

Извлеченные из-под обвала трупы лежали целыми днями с опухшими руками, раздробленной грудью, кровоподтеками и ссадинами. Овода и синие мухи роем облепляли покойников, расползаясь по ссадинам и присасываясь к засохшей, пенисто-кровавой кайме вокруг рта...

Помню, как-то бросили в яму задушенную женщину. Ее вытащили глинокопы, положили у дороги на пыльные метелки травы — на горькие сизые полынки. И так валялась она с утра до вечера, с раскинутыми, заголенными ногами. Из разорванного ворота горошковой кофты видны были отвисшие груди, словно раздутые бычачьи пузыри. И жутким, обращенным вверх взглядом застыли подернутые слюдяной пленкой глаза.

4.

Были в городе свои знаменитости.

Губернатора знали только те, у кого до начальства была нужда или беда. А вот кто из жителей не знал Па-

шу — сухокостного и болезненного дурачка, с голубыми, пригашенными равнодушием, глазами и блаженно-тупой улыбкой на вытянутом лошадином лице! Одевался Паша чистенько (был из состоятельной семьи), ходил вразвалку, на жиглястых ногах, не зная, куда деть длинные руки.

Он часто посещал церковь, где прислуживал в алтаре, подавал священнику кадило, а именитым барыням выносил просвирки. Паша являлся постоянным спутником свадеб и похорон.

Все знавшие дурачка — от стариков до подростков — не обижали его и при встречах шутили:

— Паша, когда же ты жениться будешь?

— А у меня невесты нету... Папася не нашел.

— Ну, скоро найдет! Как женишься, дурачок, так архирей сейчас же тебя в попы посвятит и хороший приход даст. А потом благочинным станешь...

— Гы-гы! — смеялся Паша и скалил кривые, загнивающие зубы...

Каждому захолустью как бы по штату полагалось иметь и своего поэта. Вторая знаменитость, более популярная среди обывателей, чем все жившие в Пензе писатели, — поэт Владимир Воскресенский.

Недоросль из дворян и пропойца, Воскресенский был живописен своей всклокоченной головой и когда-то красивым, но опухшим от перепоев лицом. Он летом ходил в босовиках и в грязной холщовой рубахе, выставив напоказ волосатую грудь.

Зимой он заворачивал ноги в обмотки, щеголял в рваных калошах. С ним появлялась иногда на улицах мать его — по слухам, бывшая воспитанница Смольного института благородных девиц, анемичная грязная старуха-приживалка, с жалким птичьим лицом и с черной старомодной наколкой на голове.

Славу поэта Воскресенский приобрел после того, как написал на открытие мощей епископа Иннокентия стихи, начинавшиеся строками:

Свершилось с той поры сто лет, —
В глуши села, в семье незнатной,
Он появился в этот свет,
Посланник правды благодатной.

Единственная газета в городе — «Пензенские губернские ведомости» («Епархиальные ведомости» — еженe-

дельный журнал — не в счет) — напечатала стихи отдельным приложением для бесплатного распространения. Слава дала Воскресенскому и заработок. Утверждающиеся хозяева города, купцы и лабазники Будылины, Грошевы, Евстифеевы милостиво прикармливали поэта, высылая ему на кухню крохи сытых кусков и обязательный стакан водки.

А в благодарность Воскресенский сочинял для именитого купечества высокопарные поздравления на все торжественные случаи: крестины, именины, свадьбы, представление к почетному гражданству.

В уезде, в г. Кузнецке, подвизался менее известный поэт, не буду упоминать его фамилии, выпустивший книжку стихов, вроде нижеследующих:

На дворе поет петух,
На улице тихо...
Услаждается мой слух:
Поет петух лихо...

Третья знаменитость — торговка Тараниха.

Бывает, что дадут человеку какую-нибудь кличку, и эта кличка плотно оседает на нем, как седло на лошади. Неизвестно, почему Тараниха получила свою кличку. Потому ли, что эта неугомонная женщина была плоскогруда, суха в кости, как волжская рыба тарань, или же потому, что славилась напористостью и упорством, — уж она-то, как таран, любую стену пробьет!

Жила она в маленькой хибарке. Муж ее, из запасных солдат, пропал без вести, оставив на попечении жены троих ребят. И она выкармливала их, бегая в мужниных сапожищах по грязным «толкучкам» или продавая в «обжорке» дешевые пирожки. В будни Тараниха работала до остервенения: ухаживала за свиньями, месила босыми ногами в хлеве грязно-коричневую навозную жижу, подоткнув за пояс серую дерюжную юбчонку. А в праздник выпивала два-три шкалика водки, принаряжалась в цветную яркую кофту и выходила на улицу. Приткнув фертом в бок левую руку и приосанившись, она вызывающе останавливала прохожих, размахивая правой рукой:

— Я бедная, да зато честная! Кабы я хотела, как ин-ные протчие, может, и у меня каменны палаты были бы!.. Баба, ежели с понятием, от мущин завсегда пользу приобрести может. А вот я не хочу. Шу-утка сказать, целую тройку воспитала... И хоша муж мой подле-ец, хоша

он, пропо-ойца, семью свою споки-инул, а может, где и подо-ох, зато я бедная, да честная!

5.

Самым замечательным событием для жителей Пензы были, конечно, не дворянские балы, о которых умиленно повествовал «Вестник Европы», а конские бега, привлекавшие своим зрелищем весь город, и кулачные бои. Последние оставили неизгладимое впечатление на всю мою жизнь.

Весь мещанский люд, без различия возраста и цеха, начиная от копошащихся в пыли четырехлетних карапузов до 70-летних седых стариков, принимал участие «в развлечении», скрашивающем горечь и скуку мещанских будён.

Бой — это редкий случай, когда каждый получал так называемую «демократическую» свободу делать то, что он хотел: вырвавшийся из клетки зверь вершил узаконенный веками обычай.

Приезжая в Пензу уже в наши дни, я часто встречался со старым товарищем детства Андреем Алексеевичем Державиным, бывшим оперным артистом Народного дома в Петербурге, пользовавшимся популярностью также и в провинциальных городах: Харькове, Киеве, Саратове, Казани, Тифлисе. Прекрасный мощный бас, которым он удивлял даже взыскательных слушателей и знатоков, собиравшихся по средам у знаменитого Ильи Репина в Куоккале, талантливая актерская игра, понимание ролей и умение прекрасно гримироваться, о чем свидетельствовали ссылки на А. А. Державина в книгах о гриме, — все это, казалось бы, давало ему право занять выдающееся место на сцене. Сам знаменитый Ф. Шаляпин, с барской небрежностью относившийся к другим артистам, ездил в театр смотреть игру А. Державина в опере «Хованщина». Правда, Шаляпин дал умышленно-небрежный отзыв об этой игре, и понятно, почему. В Шаляпине-человеке было много узко-личного, мелочного. Свысока, по-барски относился он ко многим товарищам. А ведь Державин заслуживал многого и лучшего. Он очень поздно начал свою артистическую карьеру и, главное, распылял,—как в старое время многие богато одаренные люди, — свои способности. Например, не имея никакого технического образования, он увлекся вопросами машиностроения и в течение

нескольких лет работал над изобретением сложной машины для завертывания конфет. Упрямый был человек... Забросил искусство и... машину все же изобрел. Об этом изобретении писалось в газетах. Так как старые русские законы плохо ограждали права изобретателей, то А. А. Державин приобрел заграничные гарантирующие патенты в Швеции и Германии. Чудак! Изобретение пропало неиспользованным, а сам он, состарившийся, закончил тихие дни, живя последнее время на скромную пенсию и уроки.

Мы вспоминали, как, будучи девятилетцими мальчуганами, состязались друг с другом в кулачной драке.

Побежденным считался тот, кто раньше запросил пощады. Драка-спорт сопровождалась уговором «бить ли только по бокам» или же заезжать и «по мордам». Нарушитель договора считался побежденным.

Намяв друг другу бока, наставив синяков, а иногда расквасив нос (все это делалось беззлобно, по-дружески), мы в обнимку отправлялись вместе в школу или сочиняли другую игру.

Кулачные городские бои происходили в юго-восточной части города, на навозных свалках, между Вшивой горкой и Инвалидной слободой. Аристократический центр города о боях не предупреждался, но мы, детвора, еще с вечера осведомлялись о них от «лакалов» и шепотом передавали друг другу эту строгую тайну. («Лакалами» назывались вообще беспризорные дети голытьбы. Унизительная собачья кличка происходила, как мне потом объяснили, от слова «лакать», то есть вылизывать, допивать, доедать. Впервые получили это прозвище захудалые дворовые, которым с барского стола выбрасывались опивки и объедки).

Ночь перед боем проходила в беспокойной тревоге. Чтобы не навлекать подозрений, я укладывался спать рано, в 7 — 8 часов, спрятав под матрац кусок хлеба на завтрашний день. Сон не приходил долго. Закрыв глаза, я притворялся спящим и сквозь щелочки полуопущенных ресниц наблюдал, как колышутся при скупом свете лампы сумеречные тени. В их полупрозрачной дымке чудились всевозможные фигуры. Вот великан-силач из прочитанных книг: подобно Василию Буслаеву, направо махнет — улицы лежат, налево — переулочки. А вот рассыпающимися воробьями летим мы, мелюзга, кубарем с навозной

горы. Нам вслед несется матерщинная брань. Бряцает шашкой носатый гвардеец-городовой с оранжевыми, выцветшими кантами на шинели.

— А-ту вас! А-ту!.. ту!..

Наконец, все вдруг сливается в белесую муть, и из ее бездонной трясины выползает осьминогом осклизло-мягкое чудовище с большой змеиной головой.

Но усталость брала свое, — одолевала дрема, в которой радостное переплеталось с тревожным.

Рано утром, глотая наспех сырую колодезную воду, — чаю дожидаться было некогда,—и давясь кусками хлеба, я думал только об одном: как бы незаметно удрать из дома. Не было в мире силы, чтобы остановить меня...

На месте предстоящего боя жизнь, по-видимому, текла с обычным спокойствием. Посторонний глаз не мог бы уловить ничего примечательного. Одностворчатые ставни мещанских курьих хибарок были уже открыты на день. Изредка вдоль улицы надсадно взвизгивали калитки с камнями на веревочном самодельном блоке. Щелкали железные щеколды. Проходили с коромыслами и корзинами женщины за водой, в бакалейную лавочку, на рынок или же на Портомойку для полоскания белья.

А в разных местах по перепрелому соломенному насту навозных куч козявками и мелкими жучками копошились голопузые, шелудивые, кривоногие и вихрастые ребятишки.

Немного позже, когда солнце уже поднималось над колокольнями монастыря и светлые зайчики схорашивали дрянь и убогость улиц, — появлялись первые ватаги ребят постарше.

Девчонок среди них не было, к ним относились с презрением, как к существам низшего порядка. Цветным бордюром они робко унизывали калитки и заборы, наблюдая жадными глазами, как шумели мальчишки, разбившиеся на кучки. Кое-где происходили состязания, из них самое излюбленное — борьба по-калмыцки.

Противники ложились на землю рядом, — головами в противоположные стороны, — и старались поддеть ногой друг друга в сгибе колена и опрокинуть. Побежденному всыпали «горячие шлепки». За игрой с любопытством следил кто-нибудь из взрослых и поощрительно кричал:

— Похлеще! Похлеще его, подлеца!..

В конце улицы и по обочинам загаженных неуютных

проулков робко маячили фигуры учащихся, не решавшихся переступить запрещенную зону. Завидев форменную гимназическую одежду и фуражки с синими околышками, «лакалы» перекликались:

— Сентя-я!

— Жадина гадина, синяя говядина!

— Э-эй! Кишки вымотаю, в корчагу вставлю! Тю-тю, тю-тю!

А в ответ неслось:

— Лака-а-лы! Макалы...

Гимназисты и реалисты трусливо смывались. «Лакалы» делали вид, что преследуют их, гикали, улюлюкали, бросали вдогонку камни и похабные слова.

Детвора-мелкота порхала по арене воробьиной стаей, К полудню степенно, как грачи на полевой пахоте или галки на птичьей свадьбе, собирались ватаги подростков из слободы Подгорной, Веселовки и других прилегающих окраин. Малыши отступали на второй план — жались к калиткам дворов, к девчонкам.

Ясно обозначались две противные стороны. Одна — из слободы Инвалидной, другая — с Вшивой горки. Наступление принимало организованный характер. Шли стенкой на стенку. Противников отделял плацдарм не более 150 шагов.

Волчком выкатывались вперед застрельщики, жестикулировали руками, подплясывали, взвизгивали, вертелись колесом, кривили страшные рожи и разноголосо завывали:

— Бо-о-ою! Да-ва-ан бою!..

Схватка походила на царапанье маленьких зверенышей. Драка подростков считалась более интересной. Видавшие всякие виды мальчуганы от 10 до 15 лет пускали в ход ременные плетки, резины и даже свинчатки. Делая круги, как хищные ястреба, пикеты в 3 — 5 человек то отступали к границе боя — речке Портомойке, то приближались вплотную к противнику. Самый процесс боя ожесточал. Упавшего и закрывшего лицо руками бить, по уговору, не полагалось. Но зато всеми способами — вплоть до проломов головы свинчаткой — старались ошеломить друг друга и повалить наземь. Считалось непредосудительным «закатить» под ложечку, в хрящ (кадык), выбить зубы... С опаской били и в так называемое «причин-

ное место», с опаской, потому что этот способ был рискованным, и взрослые важно поучали:

— Болван! В причинное место человека убить можно!

Ухари парни, забияки и гармонисты следили за боем и еще не принимали в нем большого участия. Гомон и шум прорезался изредка жидким скрипом дешевой губной гармошки. Случалось, к слабеющей стороне присоединялись парни из засады, и ребятня около них набиралась смелости:

— Б-о-ою!..

Все это было только прелюдией. Самое главное оставалось впереди. И к вечеру, когда великолепное и блистательное его величество Солнце, насмотревшись с высоты своего трона на дикие игрища, начинало спускаться к закату, разгорался настоящий бой, безудержный, беспощадный, смертельный. Вместе с парнями выступали отцы семейств и деды, вырывали с остервенением друг у друга бороды, сворачивали скулы, дробили зубы.

Было нестерпимо от ругательств, от развороченной навозной грязи, в которой ползали избитые, покалеченные. Кровь втаптывалась каблуками в навозную грязь. Голосили и ругались бабы, высыпавшие на улицу. Иные безуспешно старались развести по домам мужей, которые все больше пьянели от азарта. И тут на арену грузно и тяжело выкатывались первые силачи, часто решавшие исход боя. У каждой стороны имелся такой вожак, любимец, знаменитость.

Помню вожака из Березовки — Михаила Сергеева. В обычном быту человек величайшей кротости и доброты, птичник по профессии, любивший ребят и даривший нам синиц и чижиков, — он был страшен своей силой. Рассказывали, будто он скручивал в петлю железные ломы.

Появление его сопровождалось восторженным ревом:

— Михаил Сергеев идет... Ми-ха-ил Серг-е-е-в! О-о-го!

Приземистый и широкий в кости, с громадными кривыми лапами-руками, Михаил Сергеев засучивал рукава, втягивал по-бычьи голову в плечи и самоуверенной твердой походкой, словно прикладывая печати к земле, шел вперед, немного скособочившись и выставив кулаки. Он бил внезапным резким ударом — и сразу глушил до потери сознания. За ним осмелевший отряд бешено наскакивал на отступающих, рвал на них рубахи, штаны...

На плотине через Портомойку Михаил Сергеев хватал

за шиворот какого-нибудь верзилу и для потехи, под общий хохот и восхищение, бросал свою жертву в речонку, в которой было больше тины, нежели воды.

За плотиной находились огороженные плетнями сады. Отступающие расшатывали плетни, выдергивали колья. Из домов приносились дубины, железные ломы.

Неукротимый человеческий поток стремительно катился дальше, сметая на пути все преграды. Неистовый поток ревущими расплесками вливался в переулки. Где-то кому-то дробили ребра, где-то раздавались стоны, вопли, истерические выкрики женщин:

— Ой, убили!.. О-о-о-й! Уб-и-ли!

В вечернем сумраке плыл сплошной звериный, страшный рев:

— У-у-у-у!

В одном из боев ломом оглушили Михаила Сергеева. Кучка дюжих парней и мужиков понесла его, ухватив за руки и ноги, поддерживая коротко остриженную и валившуюся набок голову. Откуда-то взявшаяся Тараниха, единственная женщина, бывшая при этом, шла около и голосила:

— Ах, вы кобели окаянные! Ах, чума на ваши головы! Погрызете, кобели, друг другу горла, на кого сироты останутся?

Начальство смотрело на происходящее сквозь пальцы: ведь кулачные бои не грозили ни религии, ни потрясению государственных основ, а, напротив того, отвлекали умы от политики. Только один раз был послан на место боя десяток казаков. Но, чувствуя ли свое бессилие, или же по иным побуждениям, казаки остались безучастными зрителями.

6.

— «Весь» идет! «Весь» идет!

— «Сам» идет!..

Вихрастые уличные сорванцы, собравшись на нашем дворе с целого околотка, метались, гикали, визжали, подплясывали. Дикая, невообразимая кутерьма! Куда там до нас каким-нибудь папуасам или индейцам, а мы воображали себя иногда индейцами.

«Сам» и «Весь» — это мой отец Алексей Христофорович, любопытнейший кряж в галерее типов прошлого

«бездипломный» адвокат, переименованный клиентами-крестьянами в «Листофорыча», а нами, ради озорства, в «Растопорыча».

Своеобразная фигура отца была видна еще издали, чуть ли не за квартал. Подобно наполеоновскому кораблю, он, казалось, не шел, а летел «на всех парусах» в своей бурно развевающейся люстриновой крылатке. Черный и большебородый, с пышной шевелюрой волос, выбившихся из-под шляпы, он представлялся нам шире и выше, чем был на самом деле. В лице его имелось поразительное сходство с Альфонсом Додэ, чей портрет мы как-то видели в иллюстрированном журнале: обстоятельство, благодаря которому неизвестный нам французский писатель сразу стал прославленной знаменитостью в наших глазах.

— Са-ам!.. Са-ам!..

Специальный сторожевой уличный пост извещал нас об опасности «разбойничьим» посвистом.

Мы суматошливо перекатывались по углам и закоулкам двора.

Сверкая голыми икрами ног, охлестываясь о бузину и крапиву, накалываясь на щепки, камни и мусор, вся наша орда стремительно рассыпалась, испытывая в самом процессе суматошливой жути неизъяснимую сладость. А я вкатывался черной жужелицей в детскую комнатушку, она же и столовая, хватал в руки первую попавшуюся книгу и старался принять невиннейший вид человека, который занимается серьезным делом учения...

Любимой нашей игрой были «цирковые» представления. Раз в году, 28 июня, в престольный праздник Петра и Павла, именем которых назывался находившийся на базаре собор, наш тихий городишко Пенза оживлялся ярмарочным шумом. На площади выстраивались дешевенькие досчатые и бревенчатые балаганы, и мы ненасытными глазами пожирали разные диковинки: клоунов в колпаках, в широких цветных штанах, в балахонах с бубенчиками, акробатов в полосатых «тигровых» трико, наездниц в коротких гофрированных юбочках, шпагоглотателей, атлетов, чревовещателей, громадных собак, выкрашенных под тигра или льва. А на лубочных плакатах зазывали в цирк раскрашенные голые нимфы, изображавшие полурыбу-получеловека.

Не баловали нас взрослые деньгами. И вот, чтобы достать заветный гривенник-двугривенный на покупку би-

лета, мы изощрялись на всяческие лады: продавали и выменивали пеналы, карандаши, клетки с птицами, игрушки-самоделки, цыганили пятачки у родителей, бабушек и дядей.

Цирковые представления сводили нас с ума. Мы устраивали свой цирк в тесном проходе между полуразрушенной погребицей и досчатым хлевом, где помещалась смиренница, ласковая рыжая корова Красавка, с мягкими, черными губами и белыми ресницами на глазах.

— Дзень... Дзень!..

Ударом в железный ржавый противень кто-нибудь усердно звякал, выкрикивая одновременно душераздирающим голосом:

— Господа! Представление начинается.

На самодельной веревочной трапеции я изображал премьера, проделывая умопомрачительные сальто-мортале: висел головой вниз, зацепившись носками ног за палку и раскачиваясь, лазил по смазанному салом шесту. Заключительный трюк — пляска на коньке крыши. Трюк приводил в сумасшедший восторг ребят и смертельный ужас и оцепенение мать, однажды заставшую меня за рискованным упражнением. Добрейшая мать не нашла в себе даже сил, чтобы наказать меня. Не столько укоризненно, сколько умоляюще она смотрела серыми кроткими глазами прямо мне в сердце и с легким оттенком никогда не покидавшего ее юмора говорила:

— Сломишь до смерти голову, смотри! Ухаживать за тобой не стану. И не проси!..

Фразу эту в разных вариациях мне приходилось слышать неоднократно впоследствии. Например, при отправлении на рыбную ловлю мать напутствовала всегда словами:

— Утонешь — домой не приходи!

Наши цирковые проказы приносили немало тревог и горя матери.

Вторым завлекательным номером было заклинание змей. Мы слышали от старших, а может быть читали о чудесах факиров. Почему бы и нам не превратиться в факиров? Чем мы хуже их? Плевое дело — поймать в лесу медянку, прижать ее березовой развилкой к земле, оглушить ударом в голову и потом, держа за хвост и встряхивая, пугать на улице шарахающихся в сторону прохожих. Еще безопаснее — обмотать вокруг шеи доб-

рых, тихих ужей и пробежать легкой кавалерией по тротуарам, приводя в смятение улицу. Ужей мы развели целое гнездо под крыльцом дома и у погребицы, в которую, по словам матери, ужи ползали пить молоко из глиняных бадеек.

За факирские подвиги наша компания справедливо получила кличку «головорезов». Слова «хулиган» тогда мы еще не знали.

Любимой игрой были также «бега». Состязающиеся изображали из себя всевозможных зверей: лошадей, собак, буйволов, тигров, антилоп и даже страусов. Так как наш дом находился на углу перекрестка, то давалось задание — обежать кругом квартал. Призами были раскрашенные фигурки из черного хлеба, которые лепил старший брат Андрей. Лепил он удивительно искусно. Лучшей аттестацией его работы являлось то, что уличные ребята, вообще равнодушные к магазинным игрушкам, расхватывали его произведения чуть ли не в драку, а взрослые украшали ими столы и комоды. Дядя Володя (Владимир Иванович Соловьев), увидав однажды вылепленную братом фигуру «Наполеон у камня на острове св. Елены», одобрительно пошутил:

— Э-э, да ты, дружок, вырастешь — будешь Антонио Канова.

О Канове я прочитал впоследствии, тогда же это имя было для меня пустым звуком.

Брату, вполне естественно, подражал и я, но мои произведения не имели такого успеха. Правда, спустя много лет (в 1912 — 1913 гг.) в Финляндии скульптор А. Блох и еще кое-кто из художников, увидев вылепленную мною из пластилина кудреватую голову талантливого, но неудачно устроившего свою скитальческую жизнь писателя Лазаря Осиповича Кармена, журили меня за то, что я н занимаюсь скульптурой. Лепкой я скрашивал только тяжелые минуты тюремного невольного досуга—обычное занятие заключенных, благо в казематном «ателье» не было мешающих посетителей (если не считать дозорных подсматриваний в волчок), а арестантский хлеб, сырой и вязкий, был больше годен по своим качествам для лепки, нежели для еды, и шел на поделку шашек, шахмат, пуговиц и всякого другого мелкого инвентаря.

Отец не поощрял ни игр, ни талантов будущего Кановы. Случалось, что он заставал на дворе врасплох нашу

озорную ораву. Безразлично, находился он в трезвом виде или во хмелю, разрядка его гнева превосходила по силе все небесные громы.

Бешено он изрыгал, как чугунные ядра, отборные, циничные слова:

— Головорезы! Золоторотцы! Разбойная банда! Крапивное семя! Сучьи дети! Вшивая команда! Каиново отродье!..

Бранный словарь отца казался неистощимым. Смысла иных эпитетов мы не понимали, но чем тяжелей ударяло слово, тем интересней казался производимый погром.

Бил нас отец редко, но безо всякого соображения и осторожности: хватал конвульсивными рывками за шиворот и швырял, как слепых котят, в разные стороны. Раз в гневе он чуть не удушил младшего брата Ивана, обмотав ему шею мочальным хвостом бумажного самодельного змея.

Вспышки гнева погасали мгновенно. С угрюмым и спокойно-сосредоточенным выражением лица отец садился за еду или за работу. Я подглядывал в щелочку двери и видел, как у него, словно у породистой лошади, отдувались крупные, резко очерченные ноздри.

Отец — колоритная фигура мятущегося, неукротимого бунтаря. Никогда в течение всей своей жизни я не наблюдал на его лице улыбки, как будто он нес глубоко внутри себя какую-то трагическую тайну.

Человек железного здоровья и исключительной физической силы, он спал всего 4 — 5 часов в сутки, восполняя недостаток сна тем, что непомерно много ел, превосходя своим аппетитом всех известных нам знаменитых обжор в прочитанных нами сказках. Мы с ужасом смотрели, как он, со всегдашней торопливостью, опоражнивает добрую половину нашего семейного чугунка щей, перехрустывая крепкими зубами твердые жилистые хрящи. А выпивать мог четверть водки — обычная суточная порция. До 64 лет — до самой смерти — он не знал никаких болезней и простуд и умер совершенно здоровым от заворота кишок. Еще привычка: зимой в сильном хмелю он вытаскивал на двор подушку и в лютые морозы спал до утра на снегу, закутавшись в шубу (в горнице ему было жарко). И ничего, сходило!.. Утром вставал, как ни в чем

не бывало, приносил из ближней водопроводной будки два ведра воды (делал это для моциона) и садился работать.

Физической силой и неиссякаемой энергией отличалась и его двоюродная сестра Ирина Матвеевна Филаретова, поднимавшая девятипудовые тяжести. Биография ее могла бы послужить материалом для большого приключенческого романа в стиле старых журналов «Нива» и «Родина». Несколько строчек и о ней. Восемнадцатилетней неграмотной девушкой в 1874 году она во вьюгу и мороз убежала из деревни от отца, который хотел насильно выдать ее замуж за богатого прасола. Ночью явилась в наш дом. Мать обучила ее грамоте. В течение 12 — 15 лет способная и энергичная Ирина ухитрилась сделать, как тогда выражались, блестящую карьеру. Поднимаясь со ступеньки на ступеньку, она прошла, что называется, «огни, воды и медные трубы»: участвовала сестрой милосердия в русско-турецкой войне, затем, уже в качестве фельдшерицы, работала в Киргизии по борьбе с чумой, занималась все время самообразованием, сдала экзамен на аттестат зрелости, окончила медицинский факультет и в Уфе, уже будучи врачом, вышла замуж за видного представителя дворянства, помещика Зворицкого. Здесь в тихой семейной пристани она бросила якорь и почила на обывательских лаврах. Скверный финал, испортивший удачно начатую жизнь, которая могла стать лучшей!

Отец такой бульварной карьеры не делал и вообще презирал аристократизм, чины, награды, блеск. Может быть, судьба его сложилась бы иначе, и он не оказался бы в рядах лишних людей, если бы в период юношеского формирования соприкоснулся с интеллигентской революционной средой. Тогда он получил бы и установку и смысл жизни. Но этого не случилось. Напротив того, старая бурса и некультурная среда слишком исковеркали его. И он разделил участь многих богато одаренных от природы неудачников своей эпохи, которые буйно прожигали силы в пьянстве. Навсегда он так и остался босяком в панаме, беспокойным анархистом, — без руля и без ветрил, с ограниченными потребностями и масштабами жизни. Пил он «запоями», которые к старости особенно участились. В хмелю отнюдь не походил на пришибленного и жалкого «страдальца за мир» чиновника Мармеладова из романа Достоевского, а, наоборот, был неудержимо буен, само-

уверен и дерзок, не терпел ни от кого никаких возражений, громил родных, знакомых и даже прохожих.

В семинарии он вечно дерзил учителям, инспекторам и ректору, а ведь это происходило в инквизиционные дни розги и зубодробления старой бурсы. Кончив курс, отец некоторое время учительствовал в деревне, но тихая школьная работа не удовлетворила его. Он перешел на службу в губернское правление мелким чиновником. Поскандалив с начальством, он вышел в отставку. Решил заняться частной адвокатурой. Но и на этом поприще, недовольный каким-то неправильным решением суда, обозвал публично судей «беззаконниками и потатчиками воров», за что в дисциплинарном порядке был подвергнут наказанию: лишен прав выступать публично в судебных заседаниях. Наказание, по тем шемякинским временам, надо заметить, очень слабое.

Демонстративные выходки отца будоражили болотную сонь и глушь обыденщины.

Помню такой случай. На нашу улицу редко заглядывало начальство, разве только архиерей проезжал летом в свой обильный плодами сад, выглядывая, словно из норы, из большого окна черной кареты и щедро посылая встречным благодать благославляющей руки. Не забыть мне этой болтающейся в воздухе монашеской пухлой руки. И вот однажды показалась полицмейстерская коляска в сопровождении околоточного, который следовал на дрожках позади в качестве верного архистратига. Отец, одетый в черный сюртук, без накидки, без шляпы, стоял на тротуаре около калитки, с кем-то беседуя. Завидев приближающуюся процессию, он прервал разговор: на высоком лбу его собрались четыре глубоких продольных морщины. И неожиданно для всех он отчетливо и вызывающе крикнул своим густым, ударяющим в дома и заборы, басом:

— Мошенник! Мерр-завец! Вор! Тебе только в Сибири место!

Кучер почему-то придержал вожжи, и коляска остановилась. Околоточный стремглав соскочил с дрожек, вытянулся в струнку и, держа руку под козырек, ожидал распоряжений начальства:

— Прикажете арестовать, ваше выс-к-родие?

— Пошел! — сердито приказал полицмейстер кучеру и, махнув рукой в сторону отца, пробурчал что-то вроде: «Не стоит связываться».

Но мы, и не только мы, детвора, а и вся улица, торжествовали тогда победу, чувствовали себя празднично... Осторожным шепотком передавали друг другу, что отец, вращаясь в обширном кругу всяких знакомств, знает какие-то тайны полицейского двора, тайны отнюдь не «мадридского», а местного («пензенского») происхождения, и начальство просто боится арестовать его. Все это еще больше укрепило в наших глазах могущество и авторитет отца.

Значительно позднее отец устроил скандал в семинарии, где я учился. Явившись к инспектору, рыжебородому архимандриту Иоанникию, который был его товарищем по учению, он стал громить семинарское начальство за распущенность в стенах их учреждения. А для иллюстрации аттестовал меня, как отъявленного атеиста.

Сам отец не производил на меня впечатления религиозного человека, и поступок его я объясняю себе опять-таки привычкой всегда и везде буянить, иногда ради самого процесса буянства.

Я действительно увлекался в отрочестве материалистами: Бюхнером, Моллешотом.

Меня вызвали в правление семинарии и поставили вопрос о немедленном увольнении. Дело грозило принять скверный оборот. Для спасения пришлось прибегнуть к стратегической хитрости.

— Где же и какой отец станет требовать увольнения своего сына! — стал я доказывать собравшемуся судилищу по всем правилам красноречия знаменитого Цицерона. — Мой отец, вы сами могли в этом убедиться, ненормальный человек... Мало ли на какие вздорные заявления он способен!

Может быть, не столько цицероновская конструкция речи, сколько боязнь, что при огласке моего дела всплывут недостатки системы семинарского воспитания, заставила начальство замять эту нелепую историю.

И заключительный штрих. Вскоре после смерти отца в наш дом пришли двое полицейских с приговором о присуждении отца к двухнедельному аресту за какую-то выходку против суда... Мать, сохраняя неизменное спокойствие, с усмешкой сжала тонко очерченные, красивые губы и покачала головой:

— Далеко вам придется шагать с вашими приказами.

— А куда? — ничего не подозревая, спросили полицейские.

— Ни дальше, ни ближе, как на Митрофаньевское кладбище. Опоздали вы, судари!

Блюстителям правосудия ничего не оставалось делать, как составить протокол, что приговор не может быть приведен в исполнение. Так, даже будучи мертвым, отец и на этот раз оказался победителем.

При всех несносных чертах характера, отец привлекал к себе многих, особенно окружавшую его голытьбу, одним качеством: в нем не было и тени корысти, а тем более стяжательства. «Оригинальный человек», «чудак», «сумасшедший человек» — эпитеты, которыми награждали его мещане и чиновники в выутюженных мундирах и с прилизанными височками.

Около нашего дома всегда толпились мужики, приходившие большей частью пешком из всевозможных мест губернии. Большинство их—в лаптях и онучах, в заплатанных зипунах, домотканных рубахах, пестрядинных штанах... Серыми, синими и коричневыми пятнами хмуро расползались они по завалине дома или около погребицы а потом набивались плотно в единственную большую комнату, служившую и рабочим кабинетом отца, и вообще гостиной и залом.

Никогда я не слышал, чтоб кто-нибудь из мужиков пел песни: все они несли в город из убогих деревень вздохи, заботу и тоску неродящих полей.

Мужики относились к нам, ребятам, добродушно-покровительственно; кажется, мы доставляли им единственное развлечение среди городских невзгод. Иногда они строгали нам палочки кривым железным ножом, который мы им давали, а также помогали делать пищалки и свистульки из стеблей несъедобной толстокожей травы, называемой нами «заря-заряница». При нас они не стеснялись вести разговоры о нуждах и обидах, за исключением одного случая.

Был день, напоенный желтой мутью: не то мглой, ползущей с заволжских степей, не то дымом лесных пожаров, заволакивающих небо и дали. Ранним утром в нашем околотке началось необычайное движение. По отдельным обрывкам слов я понял, что где-то на окраине города, около тюрьмы, в это утро готовится, или уже совершена казнь крестьян, признанных зачинщиками убийства бар-

ского управителя-немца. В убийстве управителя участвовала почти вся деревня, и троих главарей присудили к повешению.

С жутью и любопытством я спросил об этом мать. Она отнекивалась неосведомленностью, и мне показалось, что она что-то скрывает от меня.

Мужики сидели на старых бревнах, сложенных для ремонта погребицы, и оживленно беседовали, хотя и с горячностью, но вполуоглядку и вполголоса. Когда я подошел к ним, разговор внезапно смолк, и я решил отойти в сторонку. Впрочем, когда через некоторое время я подошел к ним снова, они уже не стеснялись продолжать беседу. Один из них рассказывал, как в их деревне конторщик барской усадьбы выстрелил дробью из ружья в проходившую мимо девку. Изрешетил в кровь и изуродовал лицо... Сделал это без злых побуждений, а просто ради ухарства.

— И что же ему было? — спросил кто-то из слушателей.

— А ничего! Глаза у девки остались целы, работать можно, вышла она замуж за того конторщика.

Я находился уже в таком возрасте, когда имел некоторое представление о семейных взаимоотношениях, и мне долго казалось непонятным, как это девка согласилась жить с таким злым человеком, который может запросто, безо всякой причины, убивать другого.

Общение с крестьянами оставило во мне глубокие следы, и кто знает, может быть, именно в эти годы в нетронутую глубину моего детского сердца были брошены те первые зерна, которые потом выросли из подсознательных настроений в интеллигентскую, народническую систему.

Отец не брал никакой платы с крестьян за ведение дел, напротив того, сам таскал своих клиентов по дешевым трактирам и угощал, возмещая себя гонорарами с других, более богатых.

А зарабатывал он время от времени иногда крупные суммы, благодаря своей исключительной памяти и знанию всех казуистических тонкостей закона, вплоть до сенаторских разъяснений, печатавшихся жидкими брошюрами, которые отец складывал кипами на столе.

Недолго держались деньги у отца, не более двух-трех дней. После получек к нему прилипали, как мухи к патоке, целые скопища разных людей, больше всего голодранцев, которые бражничали за отцовский счет в трактирах,

занимали деньги, пели песни. Плескалось разливанное море пьянки; отец щедро сыпал направо и налево серебро, кредитки и даже золото. Доброжелатели летели к матери, предлагали ей спешить, чтоб отобрать у отца деньги, но мать всегда гневно отнекивалась:

— Не хватало еще, чтоб я за вами, пьяницами, по трактирам гонялась!

Помятый, с опухшим лицом и воспаленными страшными глазами отец возвращался домой, мать производила ревизию его карманов и находила где-нибудь одну-две скомканные кредитки.

А ведь в последние годы, когда пьянки отца участились, мы жили буквально в голоде и полунищете, частью на скудные средства, присылаемые дядей (братом матери)—учителем реального училища В. Юратовым, частью на мой ничтожный заработок (с 12 лет я уже загрузил себя грошовыми уроками). Нередко только к вечеру мать доставала кусок хлеба и крупу и готовила обед. Ставя чугун с жидкой похлебкой на стол, она старалась подбодрить нас, причитывая с волжским выговором на «о» песенку-побаску:

— Ну-тко, повор-батюшка, поворушка-матушка, шевелись-не ленись, поворачивайся. Что есть в печи, все на стол мечи!

Ставить на стол было нечего, поэтому всем нам становилось особенно весело, забывались невзгоды, и казалась слаще незатейливая еда.

Случалось, отец приобретал какие-нибудь ценности: старый домишко, мебель, а один раз даже лошадь (мы развели руками: зачем ему понадобилась лошадь?). Приобретаемое не шло впрок, продавалось спьяна за бесценок.

Еще случай. Купил он осенью в Подгорной слободе деревянный домишко за 100 или 150 рублей, как водится, вспомнил об этом через месяц зимой и торжественно повел нас смотреть покупку.

Незабываемая комическая картина поразила даже нас, детей.

На большой пустой усадьбе — остатки забора. А где же дом? Дома мы не нашли: соседи, зная нрав отца, растащили все по доске и по бревнышку на топливо. На снегу лежала только часть крыши. Стропила с несколькими

досками походили на ребра большого рыбьего обглоданного скелета...

— Мерзавцы! Воры! — выругался отец.

Прибавив еще несколько бранных слов, повел нас обратно домой. Больше он уже не интересовался покупкой.

Мать, образец изумительной простоты и внешнего спокойствия, терпеливо сносила буйные и нелепые выходки отца. Она была человеком редкой доброты, способная отдать другим все, что имела, до последней крохи, и, повидимому, просто жалела отца.

Самое большое, что она делала, это запиралась в дому и не пускала отца, когда он являлся буйным.

Случалось, она плакала, но делала это втихомолку, чтоб никто не видел. А на людях всегда, даже в самом тяжелом состоянии духа, обычная шутливость не оставляла ее.

Отношения ее с отцом остались для меня загадочными. Это отчасти о ней писал я в своей повести «Волжская кипень», пытаясь разрешить проблему их семейных взаимоотношений:

«Ведь если она...страдает с ним, то только ради грядущей перемены. Двенадцать лет она ждет его, двенадцать лет она любит его, не того настоящего, который дает только страдания, «черного» и «буйного», как он сам себя называет, а любила другого, еще не открывшегося незнаемого, нового и светлого, рисующегося перед ней в радостных возможностях...

Если б только он стал иным... Не находя выхода, она начинала верить в возможность такого чуда».

Писатель А. Свирский и некоторые критики упрекнули меня, что в изображении главного героя повести «Волжская кипень» — капитана парохода Николая Стратоныча («Драконыча») — я подражал «Морскому волку» Джека Лондона. Это неправильно. «Волжская кипень» написана до выхода в свет перевода «Морского волка». А в лице «черного» и «буйного» Драконыча я пытался нарисовать некоторые черты характера своего отца.

7.

В дикой обстановке старого быта мы чувствовали себя на положении загнанных в клетку молодых зверьков.

Едва ли в моем сердце имелась любовь к отцу. Но

удивление перед его силой, а самое главное — страх я испытывал всегда. Страх перед крепкой фигурой, как бы напряженно собранной для удара; страх перед несуразным длинным сюртуком, из задней фалды которого выглядывал кончик красного с горошками платка; страх перед широченной накидкой, в развевающихся полах которой могла, казалось, утонуть целая улица, и, наконец, — перед беспокойными, огненно-цыганскими глазами и громовым голосом, которого хватало на целый квартал.

Я и отец — два непримиримых, вечно воюющих врага. Ну, как я мог бороться с ним? Ведь он такой несокрушимый гигант, а я такой слабый и маленький. Сколько надо иметь хитрости и изобретательности, чтоб одолеть его, как одолел ведь ничтожный комаренок могучего льва.

Борьба с отцом отнюдь не являлась тургеневской проблемой отцов и детей, хотя мир в моем представлении и делился на два лагеря — старших и маленьких, старших, окружавших нас со всех сторон, как злые духи Ариманы. Не то чтобы старшие были злыми по существу своей натуры или хотели сознательно нас угнетать: ведь они же заботились о нас, а иногда даже и баловали; нет, старшие просто не понимали нас, детей, и поэтому жестоко подавляли нас своим превосходством.

В семье хотели, чтобы мы были тихими, послушными, не вмешивались в разговоры взрослых, укреплялись в благонравии и прочих добродетелях, не пачкались в грязи, не своевольничали, в то время когда каждый из нас хотел быть атаманом Кудеяром или, по меньшей мере, разбойником Чуркиным и жить в Муромском лесу, когда все вокруг заманчиво звало на простор и ширь, на опушку засеки, к глиняным «Чертовым ямам», к пруду, к канаве, или в соседний сад, где можно было наворовать полную пазуху яблоков с риском быть выпоротым, в случае поимки, крапивой. А зимой мы вывихивали себе руки и ноги и отмораживали щеки, лихо скатываясь шумной ватагой с горы на самодельных скамейках и ледянках.

Однажды ранней весной, в водополье, ребячья флотилия на самодельных плотах и корытах устроила примерное сражение, избрав ареной действий только что очистившийся ото льда прудок. Каждая из воюющих сторон старалась опрокинуть и столкнуть в воду противника. Я и брат Иван потерпели поражение. Под общий хохот мы, барахтаясь, кое-как выбрались из воды. На берегу

разделись догола, повесили одежду на сучья ветел, опушенные атласно-розовыми, еще не лопнувшими почками, и так сидели часа два, как дикие волчата, дрожа от холода и щелкая зубами. Перемерзли чуть ли не на смерть, пока ласковое, никогда не обижавшее нас солнышко не просушило рубах и штанов. Возвращаться домой мокрыми было нельзя, потому что старшие заботились, чтоб нас не продуло сквозняком, чтоб мы не промочили ног, и дома нас обязательно наказали бы за наши подвиги.

Одна мать понимала нас и почти никогда не стесняла нашей свободы, была добрым Ормуздом, защищающим нас от Ариманов. За это мы были благодарны ей и очень любили.

Как-то самовольно я увязался за взрослыми на рыбную ловлю. Ночевка на реке Суре — одно из самых ярких воспоминаний детства.

...Потрескивают сучья костра. Горьковатый дым от свежесломанных и брошенных в огонь веток густыми лопухами машет надо мной, лезет мне в глаза... Жарко пышут горячие угли, мерцают перебегающим сизо-пепельным налетом. А с другой стороны зубчатыми башенками на темном пологе неба высится бор. Ветер шумит верхушками сосен, словно большая, черная птица машет крыльями. Рядом загадочная река. А мне совсем не страшно. И тепло. Я свернулся клубочком, лежу на подстилке из травы, слушаю разговоры, сладко жмурюсь и закрываю глаза. И кажется: большой-большой кот положил на мою щеку пушистую бархатную лапу и мурлычет ласково песню. Нет, не кот, — это река журчит быстрыми певучими струнами. Открываю глаза. Зазывающее чмоканье несется с отмели, где кончается темная кайма водорослей и камыша.

— Сом чавкает! — говорит один из рыбаков и идет к поставленным на отмели удочкам.

После такой обаятельной ночи не было в мире силы, которая могла бы удержать меня от рыбной ловли. Ночью, когда кругом все спало, я, крадучись, вылезал в окно, захватив кусок ржаного хлеба. Быстро пробегал по глухим и темным улицам города, где не горели даже керосиновые фонари, пробирался по пустырям мимо слободы Инвалидной, мимо мельницы с злыми собаками, мимо высоких стен жуткого монастырского кладбища. И

ничего. Только раз за все время меня загнали на кладбище мельничные собаки.

В монастырской роще, около реки, бояться было нечего. Здесь часто я наталкивался в кустах на компании монахов, весело проводивших ночи с женщинами из Инвалидной слободы, слышал похабные разговоры и нескромные пьяненькие песни.

Страсть к рыбной ловле осталась у меня на всю жизнь.

Зимой запретным занятием была ловля птиц. В садах и перелесках я прошел своеобразный факультет естествоведения, под руководством силача-птичника Сергеева, изучив нравы и привычки птиц. А знать надо было много: по белесым ногам щегла высчитать, сколько времени он провел в клетке, по оторочке на крыльях определить его певучесть (чем больше черно-бисерных крапин, тем он певучей); отличить синицу-самку с желтым брюшком от самца в пышном бархатном галстуке, коротенькое тенькание самки — от раскатистых трелей самца.

Мы сами мастерили клетки для синичек, щеглов, зябликов и других птиц, а весной выходили к «Чертовым ямам» и выпускали своих узников на свободу.

Если семья держала нас в плену, в тисках скуки и тоски, то улица воспитывала любовь к природе, смелость, размах, наблюдательность, ловкость и выносливость.

Так складывались те черты характера, которые потом оказывали влияние на всю последующую жизнь.

8.

Самодержавие, православие и народность — три кита, на которых стояла старая жизнь.

Вместе с первым лепетом в детскую речь уже вливалась отрава самодержавной спеси, словечки вроде: «хохол», вместо украинец, «чухонец», «чухна», вместо финн, «армяшка», «татарва», «свиное ухо», «казанский князь» и прочее. Шло это не из семьи. Мать не столько по интеллигентности, сколько по бессознательно присущей ей какой-то внутренней деликатности и мягкости характера, не любила грубых слов, но грубые слова притекали сами собой с улицы, из школы, от товарищей, из первых попавших в руки бульварных книг.

Смутно первое воспоминание детства, не позже 1878—1879 гг. Мне было лет пять. В казармах, по соседству

нашей улицей, появилась первая партия пленных турок. Я играл у крыльца. Кругом — нарядный, праздничный день. У раскрытых окон и на скамеечках возле домов стрекочут сороками женщины в глазастых платочках и развевающихся полушалках. Вдоль уличной зеленой лужайки разминаются краснолапчатые гуси, нахально гогочут и дразнят меня, пощипывая просвирник. Поросята нежатся в канавах, повизгивают и показывают розовые брюшки. Разномастная ватага ребят запаливает далеко в сторону палками «чижа», и проигравший партию босоногий мальчуган скачет на одной ножке, с надсадой и без передышки вытягивая обязательное и непонятное мне слово:

— На ку-ли-и-и-и...

И вдруг вижу — идут по тротуарам незнакомые люди, в темно-зеленых камзолах и в выразительных шапочках с черными кистями. Ватага ребят прерывает игру, всеми овладевает непреодолимый порыв озорства. Мелкота толчется на месте, подростки, подпрыгивают и дурашливо, по-петушиному, кричат:

— Турки-чурки, турки-чурки!..

Незнакомые люди спокойны, они, по-видимому, не понимают ребячьих слов. Все это так ново и интересно. Я набираюсь храбрости, стою и жду. Меня подбадривает то, что рядом со мною — старший брат Андрей, замкнутый и молчаливый, «тихоня», как его называют.

Незнакомые люди поровнялись с нами. Не давая себе отчета, я тоже лепечу: «Турки-чурки».

Один из незнакомцев нагибается ко мне, кладет на голову большую и теплую руку, ласково гладит мои волосы и улыбается во всю ширину смуглого оливкового лица, показывая два ряда крепких белых зубов. Светятся приветливыми огоньками красивые черные миндалины глаз:

— Барун-чук! Барун-чук...

Вскоре мы научились играть в войну. Я просветился от товарищей и из наглядных сражений узнал, что турки — это наши заклятые враги, «нехристи», их надо убивать из ружья, а самые страшные из них — «башибузуки». Я узнал, что взять в плен — это значит связать врагу руки и ноги, запереть в темный хлев или чулан, посадить, как собаку, на цепь, морить холодом и голодом, а сверх того подвергать еще пыткам и унижениям, просовывая в щель сарая палки, проволоку, прутья.

Таковы были первые уроки «интернационального» воспитания.

Второй кит — православие.

Ни бабушка Александра Васильевна, ни мать не отличались религиозностью: мать годами не ходила в церковь, не говела, не причащалась, в семье не соблюдалось постов и вообще церковных обрядов, если не считать традиционной рождественской каши, напоминающей рисовую кутью, и пасхальных куличей.

С легкой иронией мать подсмеивалась над духовенством и монахами, вообще над богомолами. Приходил к нам сапожник Семен Ильич. Он заводил разговор на религиозные темы, жалуясь на бедность. Сиплым, всегда простуженным голосом скрипел:

— Какое у нас рукомесло? Один, можно сказать, призрак. А податься некуда. Да еще за своими денежками ходишь, ходишь, кланяешься, кланяешься, сработаешь на трешну, а получишь рубль, вот тут и свисти куликом... Образок у меня, изволите видеть, имеется, Николай Мирликийский. Так вот я на него каждое утро атаку произвожу: помоги, мол, святитель... Ты, сказывают, к беднякам жалостлив и от богатства своего всем помогаешь... Видишь, зачиврели мы в грязи, не жизнь, а один призрак.

Святителя Николая Мирликийского на старых образах обычно рисовали в пышном епископском парчовом облачении, но босым или же в сандалиях. Поэтому мать неизменно шутила:

— Ну, чего ты с него, босоногого, возьмешь? Видишь, он сам, как галах, разутый ходит.

Часто мать рассказывала потешные анекдоты из жизни духовенства.

Но одна из сестер матери — тетка Елена — была замужем за священником. А духовенство, как известно, принадлежит к той плодовитой породе, которая со сказочной быстротой может заполнить все щели и углы любого жилого места. И в нашем дому никогда не переводились племянники, племянницы, двоюродные братья и сестры, дяди, внучки и даже «сваты» и «сватьи», «горячая родня».

Трудно сказать, чем именно окружающая обстановка влияла на мое восприимчивое воображение, только, не в пример своим братьям и сестрам, я отличался с малых лет большой религиозностью.

В переднем углу отцовской комнаты на круглом столе стоял обрамленный золоченым багетом портрет Христа — подарок местного живописца Андрея Федоровича Челышева.

Портрет был написан масляными красками в натуралистических тонах входившей тогда в моду школы передвижников. Под тяжестью большого креста — согбенная страдальческая фигура. В линиях рук, в выражении лица и всей установке тела чувствовалось напряжение человека, изнемогающего от непосильной тяжести. И каким-то особенно скорбным светом были одухотворены его кроткие глаза и лицо. Из-под острых шипов тернового венка сбегали на лоб крупные капли крови. Мягко лежала на груди русая и курчавая раздвоенная бородка.

Портрет производил на меня потрясающее впечатление. Особенно преследовали страдальческие глаза. С какой бы стороны я ни подходил, эти глаза, как живые огоньки, впивались в упор и буравили мне своим пламенем сердце. Я очень жалел Христа и искренне хотел ему помочь. Но чем? Этого я не знал, не знала также и Филимоновна, рассказывавшая мне о «страстях господних», о подвигах святых великомучеников.

Художник Андрей Федорович по большим праздникам посещал нашу семью. Он имел гигантский рост, говорил мощным оглушающим басом и, обладая несокрушимой силой, хвастался, как победил даже холеру, которой заболел в деревне, куда приехал расписывать иконостас.

— Холера меня в одну сторону корчит, а я ее того... хо!.. в другую сторону. Стой, говорю, сквер-рнавка!.. уперся ногами в стену, т-р-рах... Сразу две доски вышиб. Ну, хозяин мой, значит, того... всполошился, прибежал: — «Ты что, такой-сякой, избу разорить хочешь?» А я ему: — «Хо!.. Раз-зорю, а уж холеру сквер-рнавку изничтожу!». Ну, вот так и остался жив, только всю стенку ногами разворотил.

Приходя к нам в дом и завидя меня, Андрей Федорович приземлялся, раскрыливал по-птичьи громадные, длинные руки и запевал:

Я маленький хлопчик,
Принес Христу снопчик,
Христа величаю,
А вас, хозяин и хозяюшка,
С праздником поздравляю!

Меня охватывал восторг, что вот такой большой и косматый дядя превращается в существо почти одного со мной роста. А главное, я смогу теперь дотянуться до его бороды и ушей, влезть ему на плечи и играть с ним, как с равным.

И то, что я видел живого дядю, который рисовал портрет Христа точно так же, как он рисует портреты других живых людей, придавало реальность и самому портрету. Не оставалось никакого сомнения, что Христос — это живое существо, «боженька».

В праздничные дни поутру наш городишко наполнялся колокольным звоном.

На нашей Дворянской улице находилась домовая церковь миллионерши Киселевой; в особой пристройке к церкви помещалась колокольня, и звонкие дисканты колоколов плескались: «Блям! Блям! Блям!».

А с юго-востока из белокаменной церкви Михаила-архангела неслось в ответ рокочущими переборами: «Бум! Бум! Бум!».

Шатался без дела по улицам заштатный дьякон Михайло-архангельской церкви, по фамилии Успенский, всегда пьяненький и запачканный. Он посвящал нас, ребят, в тайны церковных звонов. Откинув полы потертого репсового подрясника и заложив руки в карманы штанов, он раскачивался на толстых, как тумбы, ногах, сопел сизым носом, бубнил:

— Слышите, мел-кота, бу-бу-бу!... Л-ловко монашки с монахами перекликаются? А? Тоненькими голосами в гости зазывают: «К нам, к нам, сиротам!» А толстыми голосами — это монахи: «Бу-бу-бу», «Будем, будем не забудем!».

Он выпрямлялся, расправлял по-молодецки плечи, вытаскивал из кармана полуштоф с водкой и, поднимая его кверху, кричал:

— Го-го! Сестрички-чернички! Припас для вас красоулю! В гости приду!... Да чтоб без ерничанья, по-честному!

Позднее я узнал, что красоуля — это монашеская чаша диаметром в ширину ладони. Вмещала она приблизительно литр. Монашеский устав разрешал монахам пить «токмо по красоуле».

Дьякон всегда отмачивал какие-нибудь потешные штучки. Встретив на улице знакомого околоточного, он

ловил его за полу шинели и обязательно клянчил на водку, приговаривая:

— Все бог созда! Все бог созда, а квартального бог не созда! Его же черт перстом написав на песце морском! И даде ему в руки крючец, дабы вязати и цепляти. А квартальна бестия, не будь дурачком, сейчас же черта крючком: «Давай на косушку!...» Давай и ты, твое благородие!..

Околоточный отмахивался от назойливого дьякона, но милостиво оставлял его в покое. В участок забирали только пьяную мастеровщину и людей простого — «подлого» — звания. Били там смертным боем, отнимали деньги, раздевали, обкрадывали.

Особенно показал себя дьякон в день торжества по случаю избавления августейшего монарха от покушения на его жизнь.

В центре города, как полагается, была устроена жалкая пародия на иллюминацию. На балкончиках богатых домов кое-где полоскались трехцветные флажки, возле тротуара чадили и трещали пузатые глиняные плошки с салом. Из садика офицерского клуба бравурно гремел старомодный пошленький вальс, взлетало скупо несколько ракет к небу. На главной площади багрово и зловеще полыхала бочка со смолой, а с соборного купола неуютно спускались вниз цепочкой желтые и синие бумажные фонарики.

(Городская знать, дворянство, крупные чиновники, первогильдийные и второгильдийные купцы пиршествовали закрыто в своих апартаментах, принимали гостей, сплетничали, злословили, играли в преферанс, сладко и жирно объедались и еще слаще пили.)

Около губернаторского дома охранял покой начальства дежурный наряд. Полицейские молодцевато подтягивались и следили, главным образом, за тем, чтобы какой-нибудь шальной пьяный не нарушил благоденственного покоя его превосходительства. А пьяных в торжественные дни было хоть отбавляй — славилось ими наше захолустье!

(Праздничную толпу представляли гуляющие парочки, занятые не столько торжеством, сколько интимными сердечными излияниями. Среди гуляющих было много учащихся, семинаристов, мелких чиновников)

Картину патриотического торжественного вечера до-

полняли несчастные проститутки, бродившие около соборного склепа, старые и молодые, здоровые и больные, женщины и девушки с подведенными бровями и накрашенными конфетной бумагой щеками.

В склепе находились мощи епископа Иннокентия. Полиция сюда заглядывала редко. И вот в этом святом месте, около склепа, в аллеях, затененных акациями, сиренью и молодыми березками, происходили любовные свидания и беззастенчивый торг женским телом.

А на окраине, в конце Введенской улицы, которая тупиком упиралась в горку архиерейского сада, мы, детвора, устроили свою иллюминацию — развели костер

Обыватели, далекие от политики, жались к костру наравне с малышами. Эх, хорошо было около костра поразбойничьи свистнуть, сплясать трепака или залихватски проголосить бурлацкую песню «Матаню».

По реке мой милый пла-авал.
Утонул чугунный дья-вал.
Гы гар-ги, да я гар-ги...

В этот вечер было особенно зябко, почти по-зимнему, косматыми чудовищами быстро мчались над головой низкие бездождные тучи. Мы тащили в костер всякий мусор, вплоть до тряпок. Всякую дрянь, которой были загажены дворы и которой не было жаль не только ради торжественного царского дня, но и вообще.

К нашему костру подошел оборванный незнакомец — один из тех скитальцев, у которых нет пристанища По-видимому, незнакомец странствовал с волчьим билетом.

— Бу-бу-бу!!! — вдруг раздался около костра обычный знакомый гул.

Мы заполошились. Дьякон? Он приносил с собой всегда оживление, и с любопытством все повернулись к нему.

— Расступись, честной мир! Пьяному — в канаве трактир!

Сопя угрястым носом, дьякон протиснулся к костру рядом с мещаночками. Распахнув теплое байковое полукафтанье, он широко расставил перед огнем тумбы-ноги, на которых были только тиковые полосатые кальсоны.

Опираясь одной рукой на суковатую палку, дьякон другой рукой гладил себя по толстому животу и по широким, как у борова, бедрам.

Мещаночки в гороховых платках отвернулись в сторо-

ну, потом громко фыркнули и отошли. А дьякон повернул к ним обросшее волосами до ушей лицо и крикнул:

— Эй! Курвы-лярвы! Паки и паки загрызли собаки! Естества человеческого убоящася?

Кто-то из взрослых отозвался гадливым пошленьким смешком. Сидевший на корточках оборванец стремительно вынул из огня длинные костлявые руки и поднялся. Было в его странном торопливом движении что-то как бы возмущенно резкое, протестующее. Ярко вспыхнуло пламя костра в золотом отсвете, черные глаза оборванца сверкнули злым блеском, и по лицу, казалось, трепетно пробежали судорожные тени.

Дьякон неприязненно покосился в сторону оборванца и высокомерно смерил его взглядом с головы до ног. Потом запахнул наглухо полукафтанье, отступил на шаг от костра, постучал о землю палкой и прогудел:

— Ну-ка, мелкота! Стройсь в шеренгу! Ать-два... Ради высокоторжественного дня провозгласим словословие царю всевышнему и царю земному. Мно-о-гая лета!..

И он прочертил в воздухе палкой дугу, как регент камертоном:

— Слуш-сь! Соль-си-ре-си-соль... Дисконта, берите ре, я басом — соль.

В ночной тишине загрохотало:

— Бла-гочести-вейшему... само-державней-шему... го-осударю... импера-а-тору!..

Густой пьяный голос дьякона хрипло срывался на нижних октавных нотах и несносно дребезжал на верхних. Все молчали, вытаращив на дьякона глаза. Уличные ребята вообще не знали церковных песнопений, они умели выкрикивать только частушки и бурлацкие присловья, а у взрослых не было никакой охоты драть понапрасну глотку «всухую», то есть без выпивки. Несуразной и смешной представлялась фигура дьякона, ожесточенно махающего палкой и ревущего наподобие упрямого быка перед скотным двором.

— Мелкота! Подтя-гивай! Ать! Два! — настойчиво дирижировал дьякон. — Соль-си-ре-си-соль!.. Бла-а-а-го-честивейше-му само...

И опять вокруг было полное молчание.

— Что ж вы... мать вашу... благо-чести-вейшему... — вдруг выругался дьякон и круто оборвал пение.

Его обескуражило, что он остался в блестящем одино-

честве. Он смачно сплюнул, со злостью ковырнул землю палкой и, обходя костер крупными шагами, направился к оборванцу, чтобы на нем сорвать гнев.

— Ты чего смеешься!? Над кем смеешься? Над помазанником всевышнего смеешься!? А? А-ах ты!!

Оборванец, съежившись в летнем пиджачишке, тихо и молча попятился от костра.

— Ты кто есть такой? — грозно напирал на него дьякон. — Со-ци-алист?! Нет, ты мне ответь, почему смеешься? Бу-бу-бу!.. Выходец ерусалимский! Я насквозь зрю твое вольномыслие. Растерзаю тя, аки лев рыкающий, тварь непотребную!

Втягивая голову в сухие узкие плечи, оборванец безмолвно отступал в темные пространства.

Дьякон все больше входил в раж и командовал:

— Эй! Ребята! А-ту его!!! Бей во славу бога, царя и отечества!

Среди уличных мальчишек всегда находилась некоторая часть, склонная к озорству. Они с ревом и гиком рванулись вперед.

Оборванец сделал несколько отчаянных прыжков в темноту в сторону от дороги. Ноги его путались в подсохшем будылье трав и лопушнике, шлепающие по пяткам опорки мешали бежать, но ужас перед расправой придавал силы.

Преследовавших было всего несколько человек, но громкий бас дьякона покрывал далеко тишину ночи, и казалось, что вдоль дороги по земле катится большая бурная лавина, грозящая сокрушить все на пути. А убегающий от этой лавины бродяга представлялся черным привидением, руки его нелепо и часто взмахивали, как крылья мельницы.

— А-ту его!!! А-ту-ту... Бей со-ци-алиста! — надсаживался дьякон.

Вот дьякон остановился. Ему трудно было передвигать грузное тело. Размахнувшись, что было сил, он бросил вперед палку. Палка попала преследуемому в ноги. Оборванец с криком упал, но через мгновенье поднялся и, прихрамывая, исчез в темноте у ворот одного из домов, крикнув нам напоследок что-то. До нас обрывчато донеслось:

— Мер-зав-цы!! Га-ды!

Дьякон, тяжело сопя и отдуваясь, махнул рукой. Кто-

то из ребят поднял и принес ему палку. Дьякон взял ее и, возвратившись к костру, забубнил:

— Хула вам и попошение, вшивая команда! Земному царю многолетие не осилили! Бу-бу!

— А вышнему? — спросил один из мальчишек.

— А вышнему и подавно, — отозвался со смешком другой. — До него-то еще выше, не долезешь...

Кошмарное звериное прошлое! Происшедший случай потряс меня и оставил неизгладимое впечатление на всю жизнь.

Мне было бесконечно жаль тогда несчастного бродягу! Кто он? Куда пойдет? Может быть, дьякон разбил ему ногу? За что его обидели?

Я не мог осмыслить тогда социального значения происшедшего, но миролюбивое отношение к дьякону сразу же сменилось отвращением и ненавистью.

Дьякон вскоре умер. И умер он тоже идиотски, как жил.

На масляной неделе он, пьяный, отравившись соленой осетриной, скончался по дороге в деревню Лебедевку.

Филимоновна, при известии о его смерти, сжала в комочек сухое морщинистое лицо, вздохнула и сказала:

— Бог наказал. Лицо духовного звания, а жизни непотребной. Не угодно это богу, милые мои!

В ту пору я еще не был достаточно просвещен, не мог критически отнестись к богу, который сперва попустительствовал дьякону, чтоб тот творил безобразия и пакости, а потом счел наилучшим для себя средством травить рыбным ядом неугодного ему служителя. Но первые зачатки неверия, правда, еще неосознанно, уже залегли где-то в тайниках моего ума.

В смутных воспоминаниях прошлого встает момент последней, особенно яркой, вспышки религиозных настроений.

Мне уже исполнилось восемь лет, и я находился в приготовительном классе духовного училища, куда был перемещен потому, что плата здесь взималась меньше и можно было рассчитывать даже на освобождение от взносов.

В ноябре 1882 года состоялось освящение отстроенной училищной церкви. Предполагалось исключительное торжество с участием самого архиерея, всего учебного начальства, кафедрального духовенства и разных именитых лиц

города. На меня, как на лучшего ученика, выпала высокая и одновременно мученическая обязанность прочесть во время всенощной службы так называемое шестопсалмие.

Вечерами в течение целой недели я рьяно готовился к чтению: забивался — как «страстотерпец»—в углу комнаты и полушепотом дудил наизусть непонятные, как сложнейший шифр, и трудно произносимые славянские слова. Волновался я не менее, нежели скромный артист, которому предстоит первый дебют. Каждое слово старался произносить с пафосом, на какой только был способен, подражая при этом старшим, вернее, моей бабушке Александре Васильевне, которая незадолго перед тем мастерски прочла один из рассказов Лескова.

В злополучный вечер, когда я выходил на церковный амвон, держа в дрожащих руках тяжеленную книгу в кожаном переплете, с желтыми закапанными воском листами, все передо мной кружилось в трепетном мерцании желтых огней. Словно в сомнамбулическом сне, я ничего не различал и не слышал. Только внутри бился учащенными ударами комочек: это было мое сердце, да стучала тонкими молоточками кровь в висках. Как я читал — не помню. Но почему-то хотелось плакать. Стены церкви напоминали катакомбы и подземелья древности, о чем рассказывалось в книжках. Я напрягал свои силы и дрожащим речитативом, не видя слившихся букв, произносил наизусть: «Мнози восстают на мя, мнози глаголют душе моей» и т. д.

Внутренним слухом я ощущал вокруг себя шорох и движения окружающих, чувствовал, как незримыми нитями идут ко мне со всех сторон лучи устремленных глаз,— это и пугало и придавало силы... Направо находился большой клирос, там стоял высокий чернобородый человек в парчовом желто-золотом стихаре — архиерейский служка, или регент, а в алтаре находился сам архиерей, которого я только что видел. Но глаза мои были так застланы от волнения горячей туманной волной, что я его как бы и не видел, а потом совершенно не мог себе даже и представить.

После службы меня куда-то водили, кому-то показывали, хвалили, дарили сладости, и чья-то пухлая мягкая рука гладила меня по голове, как шершавого котенка.

А через два дня брат Андрей принес местную газету «Пензенские губернские ведомости» и, размахивая ею

перед моим носом, с праздничным выражением на лице, сказал, обращаясь к матери и смеясь:

— Вот, смотрите! Здесь нашего Саню пропечатали.

В газете оказалась похвала моему чтению. Вокруг все стали надо мной тоже подсмеиваться.

— Ну, брат... ты теперь знаменитость! Эй, знаменитый человек, вытри у себя под носом.

Насмешки показались тогда очень обидными, на глаза против воли набежали слезы, и я с трудом сдерживал их. Единственным желанием было, чтобы меня оставили в покое.

Зато я принял тогда решение, что обязательно буду подвижником, святым, даже мучеником, если это понадобится.

Мысли свои я с ребячьей скрытностью затаил глубоко внутри и высказал только младшему брату Ивану. Старшие могли бы смеяться надо мной, критиковать, судить, но Иван—другое дело: он был еще слишком мал и глуп, чтоб возражать мне, а тем более смеяться.

Вскоре я и брат Иван предприняли паломничество в древний град Киев. Улучив момент, когда старших не было дома, мы в декабре, в сильный мороз, выскочили на двор, кое-как одевшись. Яркий солнечный день ослеплял и манил. По жесткому снегу были рассыпаны синие иглистые льдинки. Искрились огоньками высокие хребты снежных бугров. В седом инее у забора лохматилась бузина, топорщились два-три кустика смородины—все садовое богатство нашего двора. В соседнем саду перекликались синички. Самки тинькали: «Пинь-пинь!» Самцы, с большими черными галстуками на синих брюшках, отвечали: «Тинь-тинь, тара-рах!».

Ну, как утерпеть, чтоб в такой чудесный, сотканный из золота и серебра день не пуститься в далекое путешествие! Мы выбрали по большой палке из кучи хвороста, сваленного около крыльца, и с воображаемыми странническими посохами двинулись в Киев. Проваливались по грудь в сугробах, отдыхали под бузиной, месили снег по вытоптанной тропе от забора к погребице и от погребицы к забору. Продрогли до костей и, когда уже от озноба у обоих застучали по-волчьи зубы, решили вернуться домой. Окончилось все тем, что Иван жестоко простудился и целый месяц пролежал в постели. Свои религиозные настроения я вылил в стихах. Это были первые написан-

ные мною в детстве стихи. Писать их мне помогала мать, мой первый учитель в поэтическом искусстве.

Молитва матери

Боже праведный, помилуй
И болезни утиши!
Тяжелы мои страданья,
Сильна скорбь моей души.
Сколько лет с детьми страдаю,
Ты, спаситель, видишь сам.
И тебя я призываю:
Будь помощником ты нам.
Терплю нужды и лишенья
С малолетними детьми.
Ты пошли мне утешенье
И все нужды облегчи.
Помоги мне, боже правый,
Воспитать моих детей
И избавь их от неправды
И от вражеских сетей!

Долгое время сохранялась в моих бумагах тетрадка-самоделка с детскими стихами, сфабрикованная из писчей белой бумаги наподобие альбома.

Третий из пресловутых китов прошлого—самодержавие.

Наиболее ощутимым олицетворением самодержавия в нашем мещанском быту являлись околоточные Мымрецовы и унтеры Пришибеевы.

Имелся и на нашей улице один из таких Пришибеевых, буду называть его Чекиным, такова фамилия одного из героев моей повести «Поповы сироты».

Во внешности Чекина не было ничего примечательного, если не считать страшилищ-усов. Нам, ребятам, казалось, что не усы, а два черно-сизых птичьих крыла угрожающе свисали по обеим сторонам его рта. Чекин носил неизменную шинель с унтерскими полосатыми нашивками, всегда внакидку, даже в жаркие летние дни. Эта добротная шинель обладала магическим свойством поглощать в своих бездонных прорехах и карманых неимоверное количество вещей—еще больше, чем знаменитые поповские полукафтанья.

Унтер, как жирный кот, бродил по подворьям, шевелил усами, вынюхивая в закоулках, на кухнях и около погребиц. Ничем он не брезговал, собирал сплетни, жалобы и пятачки, топал, грозил и успокаивался, получив

мзду. Собственно говоря, ничего нового для литературы изображение типа, вроде Чекина, не дает, и я останавливаюсь на нем только потому, что мое первое восприятие грозной местной власти запечатлелось на всю жизнь и, пожалуй, имело некоторое значение в дальнейшем формировании моих воззрений.

Описываемый случай происходил в один из августовских предосенних вечеров, когда прозрачные зори напоены червонным золотом и вальдшнепы на опушках лесов и садов радуют охотников «тягой», то есть внезапными перелетами. Я возвращался с «Чертовых ям» в самом превосходном настроении, гнал домой корову. Корова была главным источником существования нашей семьи, и на моей обязанности лежало приносить ей по утрам воду для питья из соседнего колодца, а по вечерам ходить за ней на опушку леса, если она сама не возвращалась домой.

Корова была общей любимицей и моей гордостью, она ставила меня с ранних лет наравне со взрослыми и приучала к аккуратности. Правда, трудненько было вычерпывать для нее из соседнего колодца мутную застоявшуюся воду; бревенчатый низкий сруб был покрыт плесенью и осклизлыми грибами; я зачерпывал только полведра из боязни, что не справлюсь с полным ведром, и оно потянет меня в воду; но, преодолев трудности, я оказывался всегда героем, выполнив обязанности, шел, глядя вокруг победоносным взором.

На этот раз разыскивать корову пришлось долго. Уже смеркалось, когда мы приближались к дому.

Беззаботно и мечтательно вышагивали я и корова по досчатым тротуарам. Я шлепал босиком, а корова стучала копытами, как колотушкой, по скрипучему настилу досок.

Вдруг неожиданно загремел грозный голос:

— Эт-то кто такой-сякой нарущение тишины производит? А?

Я сразу даже не разобрался в чем дело. А неумолимо властный голос продолжал:

— Сей секунд мар-рш с дороги! В тюрьму поса-жу!.. На желез-ную цепь прикую!

Обомлев, я поднял кверху голову и увидел перед собой грозно движущиеся сизые крылья усов. Перспектива быть прикованным на железную цепь не обольщала. Я

быстро согнал корову с тротуара, и оба мы, жалкие и неизмеримо несчастные, затрусили по заросшей травой улице.

— Мм-м, — замычала корова.

И в ответ ей донесся уже менее страшный—снисходительный смешок:

— То-то «ми!»... Уличных правил «м-и» не соблюдаете!

Я не понимал, что Чекин, которому наскучило стоять на посту, просто развлекался, как умел, но мне было не до шуток. Я подгонял прутом корову, улепетывая во все лопатки. Моему разгоряченному воображению уже казалось, что этот всемогущий человек с шашкой сейчас настигнет нас обоих, схватит меня за шиворот и погонит вместе с коровой в участок, о котором я наслышался всяких ужасов.

Я прибавил шагу. Чекина забавляло мое позорное бегство.

— Тю-тю!.. Держи его! Тю-тю! А-ту... Ха-ха-ха!—неслось вслед.

Ополоумевший от страха, я не помню как добрался до дому, где меня встретила обеспокоенная моим долгим отсутствием мать. Страшное происшествие закончилось мирной идиллией. Мать приласкала и утешила меня, я лег спать. Пожалуй, только мой сон в эту ночь был несколько тревожней, чем обычно.

А на другой день предприимчивый унтер явился к нам в дом и повел миролюбивый, но продолжительный разговор с матерью, кончившийся к обоюдному удовлетворению: мать, по-видимому, дала блюстителю порядка какую-то мелочь, вроде двугривенного, и по уходе его сказала:

— Правда по пословице говорится: не подмажешь—не поедешь. Не подмажешь—и по тротуарам не погуляешь!

Мастеровые угощали Чекина кренделями и махоркой. Он принимал все, как должное.

Пристава и околоточные в нашем участке, к счастью, показывались реже, они имели больше дело с крупной рыбой, рестораторами и купцами. На особом счету у полиции находились подрядчики: им разрешалось держать без паспортов и жестоко эксплуатировать всякого рода бродяг, за что полиция всех чинов и рангов, вплоть до городовых, получала ежемесячную плату—своеобразный незаконно установленный поголовный налог.

Недосягаемо от обывателей держались главные чиновники, жандармы, армейское офицерство.

9.

Подлинная жизнь казармы была закрыта от глаз населения, подобно жизни монастырской. Начальство всегда старалось показать армию во всей красе парадов, в блеске маршировок, в молодецких песнях, с лихим гиком и посвистом: «Солдатушки, бравы ребятушки!»

Но мы, уличные ребята, рано познавали другую, жуткую и отвратительную, сторону жизни армии. О ней рассказывали с оглядкой и шепотом денщики, ее проклинали строевые солдаты, шатавшиеся ночью по окраинам в отпускные дни. Мы называли солдат «крупой», вероятно, потому, что в казармах, кроме затхлой скверной каши, ничего другого не полагалось.

...На крутом спуске Дворянской улицы к базару в палисадничке, среди акаций, находился желтый и скучный двухэтажный домик. Жил в нем армейский офицер, которого я сам ни разу не видел, но слышал чудовищные рассказы о его зверствах, и он представлялся мне человеком потустороннего мира. Зато денщика его, татарина или калмыка, со скуластым монгольским лицом, испуганно-настороженными глазами, широкоплечего и неуклюжего, мы все хорошо знали. Ходил он в выцветшей куцей гимнастерке, едва доходящей ему до бедер, отчего нелепо удлинялись ноги, и он казался еще выше ростом. Большими обрубленными сучками торчали вниз его несуразные руки. Мы не знали настоящего имени денщика. Кто-то случайно назвал его «Тюленем», мы подхватили и переиначили эту кличку, и она сложилась в прочное прозвище — Тюляй.

По утрам Тюляй появлялся на улице с большой корзинкой на руке, сопровождая молоденькую прислугу в вязаной накидке, с нарядным шарфом на голове. Оба шли в лавку или на базар. Обратно Тюляй возвращался нагруженный провизией: светло-зеленым салатом, пучками редиски и прочей снеди. На обязанности Тюляя лежало также выводить на прогулку старого рыжего сеттера с кривыми лапами и мохнатым хвостом.

Никогда и ни с кем Тюляй не вступал в разговоры, а когда мы окликали его, он зыркал растерянно испуганны-

ми глазами и торопливо спешил прочь, словно боялся, что и мы, ребята, прибавим еще одну ненужную обиду к тяжестям и обидам его жизни. Во время уборки дома он возился на крыльце, выбивая швабры, развешивая на острых деревянных пиках палисадника половики.

В свободное время Тюляй сидел около дома на земле, поджав под себя ноги и неопределенно глядя в пространство погасшими и ушедшими куда-то глазами. Раз или два за все время мы слышали, как он мурчал под нос монотонные мотивы без слов, унылые и тягучие, как выжженная степь, откуда он приехал. В песнях он выливал невысказанную тоску. Да и кому было ее высказать?

О чем он думал? Может быть, о степном солнце, о кибитках, от которых его оторвали, чтобы бросить в незнакомый край и придавить тесными стенами городских улиц и душных казарм.

Взрослые передавали, что офицер каждый раз после того, как проиграется в карты, на другой день истязает денщика, вымещая неудачу, придирается к малейшей неловкости, к ничтожному упущению по хозяйству. И при истязаниях приказывает, чтобы денщик не только не кричал, но не делал даже ни одного движения, как дрессированная собака на стойке, а если Тюляй не выдерживал, то наказание усиливалось.

Расправа начиналась командой:

— Замри! Ба-сурманская нечисть!

Тюляй вытягивался в струнку, руки и ноги его начинали мелко и часто дрожать. Офицер был маленький и плюгавый. Он норовил попасть кулаком в лицо, но так как не мог дотянуться, то прыгал, подобно тарантулу, вокруг жертвы и кричал:

— Нагнись ниже! Н-ниже, с-сукин сын!

Громадный Тюляй, который мог бы одним ударом раздавить своего палача в лепешку, тупо и покорно сгибался и вытягивал вперед шею, приземлял голову, а офицер продолжал:

— Морду открой! Открой морду!

Тюляй зажмуривал глаза и подставлял лицо, а офицер начинал молотить по щекам и по вискам, вначале с расчетом, чтобы не попасть в нос и рот, ибо кровотечение было бы неприятной уликой, а потом уже без всякого разбора. Несчастный Тюляй должен был всё это выносить, хотя у него клокотало нестерпимо в горле и в серд-

це. Какую силу воли и терпенья нужно было ему иметь?

Кончилась расправа. Офицер изрыгал устало:

— Пошел вон, басурманская тварь. Ишь, псиной навонял.

И Тюляй исчезал.

После побоев ночью, в одиночестве, Тюляй выходил бесшумно, крадущейся тенью на черное крылечко и просиживал часами в тяжелом оцепенении. Ныло в сердце, и еще больше ныло тело. К кому, куда обратиться?. О, аллах, великий аллах! — мысленно молился он...

На молитву и шепот Тюляя приходил разбуженный сеттер, вытягивался на свежем воздухе, пружинил ногами, тихо скулил и обнюхивал денщика. Тюляй обнимал его, прижимался головой к тёплой мягкошерстной груди и бесслезно плакал, вытирая кулаком сухие глаза.

Мы, уличные ребята, жалели Тюляя. Обычно озорная ватага находила удовольствие в том, чтобы дразнить жалких и неполноценных людей, дурачков, босяков, пьяниц. Но к Тюляю мы все относились с бережливостью, почти с любовью, может быть, потому, что жалели его за страшную жизнь.

И вот раз произошло потрясающее, необычное для околотка событие, о котором говорили и взрослые и маленькие.

Бедняга не вынес каторжных испытаний солдатского подневольного ярма: он повесился. И повесился как-то необычно, совсем непохоже на то, как делали другие. После очередных особенно тяжелых побоев, он на рассвете, когда все спали глубоким сном, вышел в сенцы, привязал к большому гвоздю короткий брючный ремень, туго захлестнул его петлей вокруг шеи и повис, поджав под себя ноги. А утром его уже нашли окоченевшим, в странном положении: никто не мог бы сказать, что человек висит, похоже было на то, что он просто опустился на колени.

Случай с Тюляем породил бесконечные толки. Многие из нас негодовали и спрашивали:

— А что будет офицеру?

— Ничего не будет, — отвечали старики. — Начальство не узнает, а если и узнает, то промолчит. Рука руку моет.

Смерть Тюляя взволновала и произвела революцию в моих мыслях. Никак я не мог примириться с тем, что

офицер не понесет никакого наказания. Но, по-видимому, так и случилось, потому что скоро на месте Тюляя появился другой денщик, сухощавый деревенский парень.

Что сталось с новым денщиком, как он уживался с своим господином, не знаю, потому что вскоре офицер переехал на другую квартиру.

Смутное сознание, что в жизни кругом много неладного и темного, бродило в моей голове. Не раз я потом вспоминал Тюляя, искал объяснения, почему среди офицерства старой царской армии было так много жестоких людей, циников, садистов, пьяниц. Словно путем намеренного подбора сюда стекалось все, что было самого худшего и омерзительного в стране. Почему?

Конечно, самая главная причина лежала в общих условиях жизни и быта старой казармы, где оторванного от мирного труда и семьи солдата начальство старалось превратить в послушную бессмысленную скотину, в пушечное мясо: казарма-тюрьма, казарма-застенок развращала и начальство. Но было и еще одно обстоятельство, на которое уже впоследствии обратил мое внимание профессор В. М. Бехтерев.

В 1900—1901 гг. я работал с научно-исследовательскими целями во врачебно-воспитательном заведении врача И. В. Маляревского, где консультантом состоял В. М. Бехтерев, тогда только восходящее светило, профессор военно-медицинской академии, изучавший и вопросы детской патологии.

Через воспитательское учреждение прошло 317 подростков и детей; все они были выродившимися потомками дворян, крупных чиновников, лиц обеспеченных профессий, например, сын известного Глинки, редактора черносотенной газеты «Земщина». Часть воспитанников безнадежно застревала в стенах учреждения, напоминавшего «Мертвый дом», но часть устраивалась главным образом в армию. Проф. Бехтерев, не чуждый патриотического чувства, искренне возмущался тем, что армия засоряется выродками.

Происходило это потому, что военная карьера в старое время была легко доступна для всякого рода неполноценных людей. Звание офицера было почетным и к тому же материально обеспечивающим, а доступ в ряды офицерства не представлял трудностей для лиц привилегированных сословий. Стоило только выдержать поверх-

ностный экзамен по программе городского училища или четырех классов гимназии, и перед молодыми людьми открывалась возможность поступить в вольноопределяющиеся. После двухлетней службы они награждались погонами, и если обладали способностью угождать начальству, то быстро продвигались вверх.

Таким образом, недоучки, нравственные и умственные выродки, лентяи и тупицы, выгнанные из учебных заведений за малоуспешность и разные пороки, — все находили себе приют в рядах «славного» воинства.

Проф. Бехтерев правильно считал, что неустойчивый организм дегенератов мог быть в известной степени оздоровлен только физическим трудом и нормальной жизнью. При заведении Маляревского имелись столярные и токарные мастерские, а также огороды и сельскохозяйственная колония на берегу Ладожского озера. Бехтерев говорил:

— Преступление — засорять армию дефективными людьми... Пусть учатся ремеслу.

Но почти во всех случаях родители и слышать не хотели, чтобы их дети променяли привилегированное положение офицера на «низкое», как они считали, ремесло столяра или токаря. Они отклоняли врачебные советы и принимали все меры к тому, чтобы дети стали военными.

10.

Читать я научился рано, ловил на ходу кусочки грамоты и лет пяти знал буквы. Мать часто высмеивала методы обучения старого времени: сперва полностью произносилось название каждой буквы — аз, буки, веди, глагол и т. д., а затем из букв складывались слоги.

При таком способе, чтоб прочесть, например, слово «блажен», учащийся должен был проделать сложнейшую словесную эквилибристику.

Я учился по более легкому способу, по звукам и складам, и в купленной для меня дешевой азбучке рьяно изучивал: бра-вра, гра-дра, бре-вре, гре-дре.

Шести лет я одолел крепостные формы грамоты, и чтение стало моей страстью.

Во время занятий старшего брата или сестры я частенько забивался под стол, слушал, как они читают, и механически запоминал латинские и греческие слова или

отрывки французских стихотворений, вроде: «Регарде, ма шер сестрица, кель жоли идет гарсон» и т. п.

И вот замечательней всего в моем детстве было, что при такой любви к чтению я с первых же дней пребывания в школе не мог найти в ней ничего притягательного. Школа порождала только мертвую тоску и скуку, перешедшие потом в отвращение и ненависть. И как-то невольно получалось, что по утрам, выгоняя к загородным ямам корову, я невольно задерживался около садов, лужаек, канав, пригорков и вообще в пути — мало ли интересного есть на свете! Опека надо мной была поручена старшему брату Андрею, и, зная, что я не возвращусь к сроку домой, он предупредительно улавливал меня где-нибудь на дороге, брал за руку и укоризненно конвоировал.

— Ну, чего ты? — оправдывался я. — Видишь, я же иду!

Брат вручал мне картонный, обклеенный коленкором, ранец с тетрадями, и мы отправлялись в училище: я — в свой приготовительный класс, он — в четвертый.

Духовное училище находилось на углу Дворянской и Покровской улиц, недалеко от нашего дома. Один вид скучного казарменного здания, с серыми стенами и мутными, как бельма, окнами, навевал уныние. В главном корпусе помещались классы, особо — столовая с кухней и дортуаром для бурсаков. В третьем корпусе, только что отстроенном, находились квартиры начальства и домовая церковь.

Нижнее полуподвальное помещение учебного корпуса предназначалось для кладовой. Оно было сплошь заставлено снизу доверху штабелями ученических сундуков. В пролетах штабелей месяцами скапливался всякий мусор: тряпки, ошметки, негодная обувь, осколки посуды, объедки хлеба, яичная скорлупа, засохшие куски просвирок, вместе с дохлыми крысами. Все это гнило, покрывалось плесенью, издавало зловоние. Кладовая знала только три «капитальных» уборки в году: перед рождеством, перед пасхой и перед летними каникулами.

В столовой было сравнительно чище, туда изредка заглядывало высшее начальство; но и в столовой неуютно громоздились столы со скамьями, пахло прокисшей капустой, постным маслом, кашей, соленой рыбой и еще каким-то специфическим тошнотворным запахом, кото-

рым, казалось, была пропитана и вся ученическая одежда, так что трудно было разобрать, шел ли этот запах из самой столовой или ученики оставляли его после себя.

При училище имелся сад, почти всегда запертый на замок: гулять в саду разрешалось только в послеобеденные часы перед вечерним чаем под наблюдением надзирателя, что отбивало всякую охоту к прогулкам. И как в древности, — все дороги мира вели в Рим, так и все наши ученические пути вели в неизменную уборную, грязней и зловонней которой трудно себе что-либо представить, но где мы могли чувствовать себя независимо от начальства. Уборная помещалась в маленькой пристройке к главному корпусу. Она заменяла клуб, и никто из начальства сюда не заглядывал. Здесь мы проводили свободные часы, спасались от уроков, курили, чинили расправы над ябедами, соглядатаями и подлипалами. Стены уборной сверху донизу были исписаны ругательствами, ученическими фамилиями, злыми эпитетами и карикатурами на начальство — это была своеобразная циническая история училища чуть ли не с начального периода его основания и вплоть до самых последних дней.

В уборной товарищи насильно приучили меня к курению, несмотря на мои отчаянные на первых порах протесты.

Заслышав звонок, извещавший о начале занятий, мы с одуревшими от вони и курения головами стремглав мчались в класс. У дверей нас обычно встречал надзиратель Федор Леонтьевич, считавший своей обязанностью брать на особую «отметку» опоздавших. Сухой, высокий, в черном из шерстяной материи полукафтанье, он был неумолим при исполнении своих обязанностей. Прозвали его «Гусаком» за излюбленную им манеру щипать, а щипался он артистически, с каким-то сладострастным остервенением. Поймав жертву, притиснув ее одной рукой к стене или к косяку двери, он другой рукой выкручивал яростно мякоть на плече или на шее пойманного с таким вывертом, что надолго оставался след: сине-багровое пятно. Пойманная жертва напрасно билась, кричала, проклинала мучителя, ничто не помогало, никакие мольбы и слезы. Федор Леонтьевич только холодно и с усмешкой смотрел куда-то поверх своими острыми и злыми глазами.

Если у пойманного имелся на голове достаточный ви-

хор волос, то Федор Леонтьевич выдергивал клок-два, а частенько драл и за уши. Обычай подобных расправ сохранялся в училище, как святая традиция, и переходил из года в год. Несколько лет спустя расправы со мною, в переделку к Гусаку попал мой младший брат Иван. Разыгралась довольно редкая в стенах училища история. Спасая свое ухо, брат так рассвирепел, что с кулаками полез на Гусака.

— А-а, ты так! — бешено заревел Гусак, схватил брата за шиворот и выбросил по лестнице на двор.

Провинившегося брата за дерзость чуть не уволили из училища. Спасло только то, что у брата оказалась оторванной нижняя часть уха: осложнять историю при наличии такого обстоятельства было невыгодно для начальства, и брат отделался карцером.

Федор Леонтьевич уши называл «ухами». Когда он трепал за уши, то приговаривал:

— Уши — у людей, а ухи — у свиней... Ты — свиненок, у тебя ухи. Вот тебе! Вот тебе!.. У-хи, у-хи!..

Власть Гусака распространялась на учеников младшего приготовительного класса. Учащихся постарше привечал у входа в класс помощник смотрителя Алявдин, с не менее громким, чем фамилия, именем — Фотий. Он был тучен, невысокого роста, малоповоротлив, с круглым брюшком и впоследствии променял педагогическую деятельность на более спокойную службу протоиерея. Фотий одевался в черный суконный сюртук с белым засаленным жилетом и бил легко, или, как он сам выражался, «раздавал пряники». После щипков Гусака колотушки Фотия действительно могли некоторым показаться «пряниками». Мы их, конечно, не любили, но и не особенно боялись. Фотий бил без азарта, с методической размеренностью, делая это не столько по доброте, сколько из-за лени, порождаемой тучностью. Отпуская «пряники», он приговаривал.

— Ать-два! Ать-два!

Учителя были в большинстве бездарными и бесцветными чиновниками, на занятия смотрели как на исполнение неприятной и обременительной обязанности, задавали для зубрежки уроки «от сих и до сих».

Исключение из учителей составляли только двое: учитель греческого языка Маловский, совершенно неспособный кого-либо обидеть, и Михаил Иванович Ремизов,

интеллигентный человек, с народнической наружностью, с добрыми глазами и широкой темно-русой бородой; он поощрял в нас любовь к чтению, являлся, так сказать, белой вороной среди всех педагогов, но пробыл в нашем училище недолго.

Первый год моей школьной жизни совпал с каким-то большим торжеством, вроде коронации. Не ручаюсь за точность дат, но именно с фактом коронации связано несколько детских впечатлений.

Как-то вечером пришла к нам в гости бабушка Александра Васильевна с «вечным студентом» (как мы его называли) — с дядей Володей. По обыкновению дядя Володя что-то много и весело рассказывал, потом похлопал брата Андрея по плечу и сказал:

— Ну, что ты скажешь, молодой человек, насчет «карынации»? Готовитесь?

Андрей пробурчал что-то невнятное, а я глядел ничего не понимающими глазами.

Дядя Володя рассмеялся и еще раз раздельно повторил:

— К а р а н а ц и и...

Смысл этого каламбура я понял только через много-много лет потом, когда в одной из нелегальных книг познакомился с каламбуром о коронации и прочел четверостишие, посвященное «злому духу» той эпохи — обер-прокурору синода Победоносцеву:

Победоносцев — для синода,
Бедоносцев — для народа,
Доносцев — для царя,
Рогоносцев — для себя.

По-видимому, именно по случаю коронации в церквах и в нашем училище читались непонятные манифесты на невразумительном церковно-славянском языке. Грубо, по-казенному вдалбливалась в голову всякая чертокадабра и тарабарщина. Эту чертокадабру я не так давно прочел случайно в одной старой книге:

«Глас божий повелевает нам стать бодро на дело правления в уповании на божественный промысел с верой в силу и истину самодержавной власти».

И я невольно вспомнил прошлое.

«Божественный промысел» оказался бессильным спасти самодержавие перед лицом грозной революции. Но в свое время этот «божественный промысел» влил немало

горечи и отравы в нашу и без того горькую ученическую чашу.

Подготовка к празднику была для учащихся тягчайшей обязанностью. Каждый день аккуратно в четыре часа раздавался жалкий дребезг звонка, и тогда из зловонной уборной — клуба учащихся — мы, как стадо баранов, летели на репетицию, на очередную спевку, где разучивали специально написанный для торжества бездарный гимн: «Славься, славься, наш русский царь, господом данный, наш царь-государь»...

Толпясь на лестнице и толкая друг друга, чтоб не опоздать, мы отчаянно лавировали между Сциллой и Харибдой, то есть между Фотием и Гусаком. Фотий озирал нас с обычным олимпийским величием, а Гусак нетерпеливо стрелял хищными глазами, и у обоих было написано на лицах неизменное: «Горе опоздавшим!»

Мотив царского гимна был несложен, но не все обладали уменьем петь и способностью запоминать. В таком случае регент Яков Васильевич, тогда еще дьякон, а впоследствии протодиакон одной из соборных церквей, пускал в качестве учебного пособия камертон. Надо воздать справедливость Якову Васильевичу: он был добрым человеком и сравнительно редко пробовал звучность камертона на головах учеников.

Для неуспевающих писались ноты по древнекиевской системе: ут-ре-ми-фа, — «ут» вместо «до». Обучение по нотам было обязательно, так как пение стояло в ряду важнейших предметов и внедрялось всеми мерами, включительно до воздействия рукоприкладством и камертоном.

Маленькое лирическое отступление о камертоне. Сколько неосуществленных мечтаний, унижений, слез, разбитых иллюзий и искалеченных жизней связано у старшего поколения с этим словом! Можно бы написать не одну, не две, а десятки новелл, стихотворений, рассказов, поэм, драм, целую «Камертониаду».

Как-то раз в Пенатах у Ильи Репина писатели, художники и артисты, в том числе И. Бродский, Горелов, А. Свирский и другие, беседовали об искусстве. Не помню кто, возможно, что сам Илья Ефимович, хитровато прищурясь, обронил красивую фразу: «У художника должен быть в глазу циркуль, а у поэта и певца в ухе— камертон».

Хорошие слова! Но не в этом, возвышающем искус-

ство, смысле хотелось бы вспомнить о камертоне. Дорогой ценой покупали мы познание его музыкальных свойств!

Камертон! В зависимости от силы удара ты звенел то с нежной мелодичностью, как легкий ветерок звенит по тонким струнам арфы, то с грозным гулом, как осенняя буря, ломающая вершины дубов. Опускаясь на темя чьей-нибудь головы, ты давал только одну ноту «ля», но эта нота разрасталась целой симфонией звонов в ушах. Эта нота оглушала, а иногда даже из глаз высекала огненные искры и слезы! Камертон! Один твой вид наполнял содроганием наши сердца.

Лирическое отступление о камертоне закончу случаем, который произошел с братом Иваном.

У Ивана был хороший, сильный, с твердым металлическим звучанием, альт. Мальчик был взят в один из ученических хоров, где иногда ему поручали исполнять сольные вещи. Но при хорошем голосе у него не было необходимого уменья, а главное — слуха.

И вот однажды во время торжественной церковной службы брат увлекся и взял своим сильнейшим альтом фальшивую ноту, взял так высоко и резко, что «покрыл» весь хор. Получился небывалый конфуз. И после службы рассвирепевший регент долго обламывал свой камертон об голову злополучного певца.

Иван бросил посещать хор. Никакие увещания и угрозы, никакие силы не могли после того заставить его петь не только в хору, но даже дома, для себя. У него на всю жизнь была отбита охота к пению.

Так поощрялись в нашем училище таланты.

11.

Трудно описать прошлое в той полноте и точности, как оно происходило, потому что, во-первых, последующие годы наложили на воспоминания целый слой других ощущений и переживаний, а, во-вторых, кое-что улетучилось из памяти и невольно может воскреснуть в прикрашенном и идеализированном виде. Но постараюсь со всей беспощадной правдивостью продолжать свой рассказ, уподобясь тому естественнику-натуралисту, который, накалывая бабочку на иглу, осторожно прикасается к ее крыльям, чтобы не стряхнуть с них пыльцу...

Много хороших семян было брошено в мое сердце матерью. У нее имелись, конечно, и недостатки, но я их как-то не видел, вернее, не замечал: так подкупала ее исключительная гуманность и доходящая до самоотвержения любовь ко всем страдающим и обиженным. Впоследствии в тяжелых случаях жизни светлый образ матери давал мне большую моральную поддержку, мать вспоминалась в ряду лучших людей, которых я встречал в жизни, хотя порой мне и кажется, что живучесть ее образа в моем сознании и ее гуманизм оказали немалое влияние на мою интеллигентную мягкотелость. Эта мягкотелость не раз сбивала меня с правильного пути. Мать стихийно была народницей. От нее первой я услышал много рассказов о прошлом, о деревне, заучил наизусть ряд стихотворений Некрасова, который был ее любимым поэтом. Особенно нравилась нам поэма «Кому на Руси жить хорошо».

Мать имела хороший мягко-лирический голос. В летние дни перед вечером, когда спадала жара, мы усаживались у распахнутых на улицу окон и хором пели: «Выдь на Волгу, чей стон раздается», «Ой, полна, полна коробушка», «Нива, моя нива!» и другие песни того времени. На летние каникулы приезжал иногда дядя Вася, тогда студент Казанского университета. Две тетки — Лиза и Ольга, сестры матери, были тоже замужем за студентами, которые привозили с собой запрещенные песни, вроде:

Появилися в столице
Подозрительные лица.
Ой-ой! Ох-охо...

Запрещенные песни пели с предосторожностями: брат Андрей, не принимавший участия в хору, стоял на карауле около дома, чтоб предупредить в случае появления на улице полицейских. Расшумевшаяся молодежь частенько забывала и об осторожности. Тогда бабушка Авдотья Васильевна волновалась и начинала спорить с развеселившейся молодежью.

Авдотья Васильевна была человеком старинных взглядов, любила рассказывать, как она берегла своего сына от ненужных знакомств и спасала во время обысков от «тайной полиции». Рассказывала о каком-то Толузакове, которому пришлось эмигрировать через границы Румынии.

Все эти врывавшиеся случайно новые впечатления были непохожи на окружающую обывательскую скуку и сон, открывали неведомые уголки новой, до жуткости интересной жизни.

По соседству, на Введенской улице, квартировали гимназисты и так называемые своекоштные семинаристы, родители которых жили в селах. Незначительная часть этой молодежи занималась самообразованием, читала тайком от начальства недозволенные в учебных заведениях книги.

Я частенько прислушивался к их разговорам и брал у семинаристов книги, мало-доступные для моего детского понимания: романы Шеллера-Михайлова, рассказы Глеба Успенского, Левитова, Помяловского, Решетникова, Златовратского. По правде говоря, я был в хаосе прочитанного, как в дремучем лесу. Но в мутном потоке мыслей вырисовывалось определенно одно, что жизнь вокруг полна несправедливости и страданий. Это подтверждали и каждодневные наблюдения над окружающим, об этом же, вздыхая, рассказывали приходившие к отцу крестьяне.

Основным руслом, по которому направлялся поток всей тогдашней литературы, было народничество. И неоформленные народнические идеи незаметно проникали в мое сознание. Жадно поглощал я также приключенческую литературу: «Всадник без головы» Майн Рида, романы Жюль Верна.

Как у всех подростков, сердце тянулось к героическому и романтическому: тут от уличных товарищей наплывала еще бульварная макулатура Манухиных, Лейкиных и прочих мастеров лубочного дела.

Где-нибудь на задворках мы, мальчики и девочки, в том числе моя старшая сестра Анна, собирались в уединении от взрослых, упиваясь чтением сентиментальных романов и повестей, вроде «Битва русских с кабардинцами, или прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа».

Не один я, но и многие из современников той эпохи, люди одного со мной поколения, испытали на себе очаровывающее влияние прежнего лубка, может быть, потому, что в нем не было ничего похожего на унылую и однообразно скучную мещанскую действительность, которая нас окружала.

Неестественно вычурные образы и слова лубочных ро-

манов потрясали наше воображение: «Одно мгновение— и кинжал окажет мне последнюю услугу, пронзит сердце, любящее тебя...

Селима умирает над гробом любимого Андрея: «Драгоценный мой, я к тебе!» Она падает на гроб, последовал тихий вздох, и прекраоная душа Селимы вознеслась на небо. Вот пример, как любят магометанки. Они не переносят смерти мужа и умирают на гробе его».

Теперь так смешна вся эта глупо сентиментальная чепуха, утверждающая феодально-крепостническое порабощение женщины, но тогда мы находились под обаянием наплывавшей на нас отовсюду мещанской сентиментальности. Андрей и Селима стали нашими героями.

К пошлости располагали нас и взрослые. Весной и летом гуляющие парочки усаживались на скамеечках под липами архиерейского сада. Соседние семинаристы и гимназисты пользовались нами, детворой, для своих любовных поручений, мы передавали записочки, стояли на караулах, бегали в ларьки за орехами и пряниками.

Красивый белокурый семинарист Святаня (Святослав), ходивший в модной визитке, узких брючках «макаронами» и в пышной рубашке с галстуком-бабочкой, пользовался большим успехом среди епархиалок. Он успешно ухаживал за воспитанницей миллионерши Киселевой голубоглазой Сашенькой. Товарищи завидовали ему и многозначительно посмеивались:

— Эй, Святаня! Амуренция и галантеренция! Женишься на миллионерше, не забудь нашу братву!

— Ладно! — смеялся Святаня. — Жертвую тысячу сребреников на выпивон и закусон.

Святаня поручил мне передать Сашеньке письмо. Я взялся за эту миссию, как за почетное дело, приобщающее меня к взрослым, и в течение нескольких вечеров героически дежурил, пока не удалось подстеречь Сашеньку во время ее прогулки около сада. Она прочла письмо и расцвела девичьим румянцем радости. Я любопытным зверьком смотрел на нее круглыми восхищенными глазами в ожидании ответа. Но она ничего не передала мне, а только взяла мое лицо в свои пахнущие весенним ландышем ладони и сказала нежно:

— Какие у тебя красивые, бархатные глаза!

Потом неожиданно для меня нагнулась, прижала мою

головку к упругой теплой груди и впилась крепко в самые губы долгим, горячим поцелуем.

Я вспыхнул.

Мне не было еще и двенадцати лет, о женщинах я не думал и имел о любви только книжное представление, а вот теперь не в романе и не в сказке ласкает меня девушка с голубыми глазами, та, о которой мечтает столько семинаристов и гимназистов.

Буря мыслей, навеянных прочитанными образами, поднялась в голове. Возвращаясь домой, я уже рисовал себе в воображении, что она будет моей Селимой, а я, хотя сейчас и мал, но очень скоро подрасту и обязательно стану ее Андреем. Так в мечтаниях я шел и слагал какие-то строки неясных любовных стихов.

Книги и похождения взрослых преждевременно будили чувства, для которых мы, дети, еще не созрели. Но мы старались подражать взрослым.

Плохое дело творили взрослые, когда старались втянуть нас в свои похождения и цинично просветить в области отношений к женщине, научить всяким порокам. Большинство семинаристов пьянствовало, и однажды они для развлечения напоили пьяным младшего брата Ивана.

С Сашенькой я больше не встречался. Взбалмошная старуха-миллионерша — ее воспитательница—скоро умерла, оставив состояние дальним родственникам. Сашенька выехала из дома. Мечты Свягани разлетелись прахом.

Я написал несколько стихотворений, которые тайком читал своему приятелю Васе Сухову, способному и болезненному хромому мальчику, ходившему на клюшках, которого я любил, а может быть, больше жалел, и это особенно привязывало меня к нему. Вдвоем с Васей мы решили, по примеру героев прочитанных книг, ухаживать за соседней девочкой-подростком Катей Шуниной. Катя, по-видимому, предпочитала моего товарища. Но это нисколько не охладило нашей чистой дружбы и не оттолкнуло меня от «соперника», а, напротив того, вызвало желание совершить какой-нибудь благородный самоотверженный поступок. Я писал стихи, посвященные Кате, и передавал приятелю, который вручал их по назначению так, что мое авторство оставалось для всех строгой тайной. Это доставляло большое удовлетворение нам обоим.

Стихи были в стиле повести «Битва русских с кабардинцами», они сплошь состояли из «демонических» обра-

зов и слов, хотя по натуре своей я был очень добр. В одном из альбомов юности сохранилось несколько стихотворений. Возможно, что часть их относится именно к этому периоду:

Понесутся ль проклятья мне вслед
Из озлобленной груди ревнивца, —
Я счастлив, а в груди у счастливца
Состраданья и жалости нет...
Если б кровью пропитан был путь,
Иль усеян, как склеп, мертвецами,—
Я решился б чрез трупы шагнуть
И развеять любовное знамя...

Такими страшными словами я хотел показать силу «африканской» любви своего товарища. Что в сравнении с нами Селима и Андрей?

Катя жила по соседству, и мы до нашей «роковой любви» ежедневно виделись с ней без препятствий, но теперь обязательно потребовалось, чтоб на пути между нами стояли неодолимые преграды и на наших отношениях лежала дымка таинственности. Я начал устраивать своему товарищу тайные свидания с Катей, доставал для него цветы и был счастлив тем, что героически приношу в жертву любви свое личное чувство.

Приблизительно в это время, под влиянием новых интересов и всей окружающей обстановки, стало ослабевать мое религиозное чувство. Большую роль сыграло в этом мое близкое знакомство с семинаристами.

Если кружок избранников занимался самообразованием, то основная масса семинаристов в часы досуга предавалась пьянкам и богохульству. Никогда и нигде в жизни я не встречал такого кощунства и издевательства над религией и церковью, как среди этих будущих служителей бога. Во время пьянок они побивали такие рекорды, что однажды дело кончилось даже смертью одного из опившихся. В дни страстной седмицы (недели) перед пасхой, когда, по церковным правилам, христиане должны говеть и быть особенно воздержанными, пьянки принимали гомерические размеры.

Помню, всеведущая Филимоновна прибежала к матери и, разводя руками, стала возмущенным шепотком рассказывать.

— Жильцы-то Евпловых что надумали, милая моя!.. Сегодня страсти христовы, а они для этого дню шпаке-

тиками весь то есть стол заваливши... А в одном шпакетике, вот ей-богу не вру, ни дать ни взять—колбаса... Длинное-предлинное и веревочкой перевязавши. И водки четверть.

Мать засмеялась.

— Ой, грех какой! — продолжала Филимоновна. — А еще лица духовного звания.

— Вот и хорошо, что духовного, — пошутила мать. — Будут батюшками, грехи сразу замолят...

— Ох, грех, ох, грех! — качала неуспокоенной головой Филимоновна.

Мне тоже было смешно.

Однажды прошел слух, что в пристройке к собору, где лежали готовые «к открытию» мощи епископа Иннокентия, происходят чудеса: зажигаются сами собой в двенадцать часов ночи огни, и святой начинает ходить в одном из приделов собора.

Я принял дерзкое решение проверить этот слух.

Мы решили отправиться вместе — я и Вася Сухов. У меня была задняя сокровенная мысль, что для такого рискованного предприятия трудно найти более подходящего товарища. Если пойдет кто-либо другой, то в случае опасности он может смалодушничать и удрать, оставив меня в критический момент одного. А хромоножке Васе, ходившему на костылях, не так-то легко убежать, и таким образом у меня был гарантирован верный союзник.

В холодную осеннюю ночь мы шли по безлюдным улицам. В промозглой темноте только изредка на углах чуть светились керосиновые фонари, да и они были в неисправности. Около городского сквера, примыкавшего к склепу, на этот раз не бродили даже и проститутки, потому что погода была отвратительная. Меся ногами грязь, мы прошли по аллеям, вдоль оголенных кустов сирени и барбариса, напряженно вслушиваясь в тишину. На одной из скамеечек у входа сидел закутанный в байковую чуйку сторож и совершенно не обратил на нас внимания. Желтым глазом, как у страшного филина, мигал фонарик у дверей склепа.

Мы сели на сырые каменные приступки. Пахло подземельем и известью от стен. Тоскливо из-за ограды дул ветер, скрипел водосточный железный желоб, стучала вдали колотушка ночного караульщика. Поблизости мелькнул какой-то силуэт. Это была бродячая собака.

— Дай-ка костыль! — обратился я к Васе и пугнул собаку.

Так долго сидели мы, всматриваясь настороженно в темные провалы церковных окон.

Везде было тихо, ни звука жизни.

Из женского монастыря с Троицкой улицы донесся звон. Пробило час.

— Ну, что, долго мы будем еще дураками сидеть? — нарушил молчание Вася. — Идем-ка домой... Я спать хочу.

Разочарованные брели мы домой, и было досадно, что ничего интересного не видели, и рассказы об огнях являются просто выдуманными бреднями.

А на другой день товарищи, знавшие о ночном похождении, обступили нас с расспросами:

— Что видели?

— Черта комолого видели, — отвечал я.

Кто-то принял шутку о черте всерьез, и по нашему околотку распространился слух, что около собора черти утащили ребят.

Вот пример, как легко создавались всякие небылицы.

О втором случае мне напомнил в письме товарищ детства артист Андрей Алексеевич Державин: мы лечили святым причастием заболевшего кота. Происходило это перед пасхой в дни говенья. Загрустил у нас кот, которого все так любили. С жалобным мяуканьем кот беспокойно бродил из угла в угол. Никто не знал, что с ним делать. Филимоновна уверяла, что кот обязательно пропадет на неделю, убежит в лесные дикие места, а потом вернется. Таким способом все кошки лечат себя...

Но мы вполне законно тревожились, а вдруг кот не вернется? Кому-то из ребят пришла мысль: что, если полечить больного христовым телом? Мысль эта понравилась: в ней было не столько веры в чудодейственную силу мощей, сколько детской шаловливости и одновременно желания проверить, правду ли нас учат, что святое тело христово может творить чудеса.

Во время причастия брат Андрея Державина спрятал за щеку кусочек просфоры и потом осторожно завернул эту частицу в бумажку.

Долго мы возились с котом, чтобы причастить его. Будучи вообще смирным, на этот раз он отчаянно отбивался, царапался, мяукал, кусал нам руки, изгибался всем те-

лом. С трудом нам все-таки удалось заложить ему в пасть «тело христово». Кот фыркнул, сделал отчаянное усилие и вырвался из рук, срыгнул причастие. Мы не успели опомниться, как он, задрав хвост, уже метнулся молниеносно в сторону и вскарабкался на погребицу. Усевшись победителем, он стал облизывать бока, время от времени пугливо поглядывая на нас.

На земле лежала частичка просфоры. Мы не знали, что с ней делать. Как никак, ведь все-таки это называлось «телом христовым». И еще мелькала мысль: а вдруг то, чему нас учат, есть правда, вдруг бог в самом деле накажет нас за кощунство? По правилам надо было съесть причастие... Но кто же будет есть блевотину кота?

Мы завернули в бумагу остатки причастия. К счастью, топилась печь в кухне, и мы незаметно для других сожгли «тело христово» в огне.

Некоторое время нас тревожило смутное чувство беспокойства, но ничего не случилось. Мир оставался таким же, как и был. Курица-пеструшка оповещала на весь мир, что она снеслась, а другая хохлатка важно клохтала у крыльца, преждевременно заявляя, что она хочет стать наседкой. Дурашливо чирикали в бузине воробьи. И солнце попрежнему щедро бросало нам ласковые лучи. А к вечеру вернулся и кот.

Хорошо, что никто из взрослых и начальства не узнал о происшедшем, иначе нас жестоко наказали бы, а за кощунство даже выгнали бы из училища.

Этот случай окончательно поколебал мою веру в бога...

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

(Из воспоминаний о В. И. Ленине).

Гениальность проста. Соединение простоты с гениальностью составляло — это признано всеми—основную черту в личности Ильича.

На первый взгляд он не выделялся как будто ничем особенным, не поражал внешне. Но есть такие глубокие колодцы, в которых даже днем видны звезды. Таков был и Ильич. От его наружности запечатлелись вспыхивающие синие огоньки в уголках глаз. Как будто изнутри, в пламенном горне сердца, рождались огни, из глуби высекались искры. Искры творческой работы.

Мне как-то впоследствии пришлось видеть на картине изображение одного гениального музыканта в момент творчества. Художник пытался выразить мощь гения именно в огоньках глаз. И невольно пришли на память глаза Ильича.

Еще запечатлелась от прошлого напруженная стремительность фигуры Ильича во время некоторых речей, словно он собирал каждый свой мускул для удара...

Впервые я встретился с Ильичем на общероссийской социал-демократической конференции в г. Таммерфорсе в ноябре 1906 г.

В конференции участвовало 32 человека с решающим голосом, из них 18 меньшевиков и 14 большевиков, представителей областей Поволжья, Сев. Кавказа, Донецкого бассейна, Польши и Литвы и других районов. Я был представителем Поволжья.

Работали с утра до ночи. Мы воевали с меньшевиками, шла ожесточенная борьба. В промежутки между заседаниями устраивали фракционные совещания.

...Несколько слов об Ильиче, как о товарище. Ильич к каждому из нас подходил индивидуально, считался с особенностями. Может быть, это именно и было отчасти связано с его изумительной организаторской способностью. Он умел оценить каждого, указать соответствующее дело, найти место каждому колесику и винтику в большой машине организации.

Приведу такой случай. В Таммерфорсе мы были разбиты на группы, некоторые жили по двое и по трое в частных квартирах у финских граждан. Вместе поселились трое: т. Дзержинский — представитель от Польши, Басок — представитель крестьянской «Украинской Спилки», и я.

Дзержинский тогда был еще совсем молод — худой, стройный, как будто сосредоточенно замкнутый в себе. Меня трогала необычайно кристальная, почти детская его чистота, словно все его существо было заключено в горный хрусталь... Мне порой даже казалось, что в его глазах было нечто нежно-лирическое. «Красная девица» — раз даже в шутку назвали его. Но с этой кристальной чистотой и мягкостью соединялись решительная самоотверженность и преданность делу революции.

Ильич очень любил Дзержинского. Впоследствии я понял, почему именно его, этого идеально чистого человека, он выдвинул на такой ответственный пост, как председатель Чека.

Иным было отношение Ильича к Баску. Последний — довольно-таки непривлекательная личность с неопределенными взглядами, как вообще неопределенна была и организация «Спилка», пославшая его.

И, надо сказать, что впоследствии, после дней Октябрьской революции, Басок, судя по газетам, оказался в рядах петлюровцев.

Ильич как товарищ относился к нам с большой заботливостью, вплоть до мелочей. Перед отъездом из Таммерфорса он давал советы и указания — как ехать, где сделать остановку...

В одну из свободных минут Ильич выбрал время, чтобы прослушать несколько моих революционных стихотворений. Это было после одного из фракционных совещаний.

Вместе с Ильичем были еще товарищи. Они сидели на столе, я декламировал стоя.

В общем, Ильич одобрительно отнесся к стихам, но расценивал их исключительно со стороны содержания и идеологической правильности.

Между прочим, мною было прочитано одно из старых юношеских стихотворений, где говорилось, что революционный боец не имеет права на личное счастье. Вот выдержки из стихотворения:

Нежной любви искрометный бокал
Жизнь поднесла мне в минуту отрадную.
Помню, дрожащей рукой его взял,
Думал упиться с беспечностью жадною.
Но... на прозрачном запененном дне
Слезы... лишь слезы почудились мне...
Мне показалась любовь преступленьем,
Тысячи стонов услышал я вдруг,
Заколыхалися скорбные тени...
Выпал бокал из затрясшихся рук,
Выпал, разбился. Нежданная сила
Светлую сказку любви омрачила:
. . . .
— Как? В этот час, когда гибнут кругом,
Думать о собственном счастье своем?
и т. д.

Ильич нашел, что в стихотворении звучат старые интеллигентские перепевы, отрыжка народничества, нет марксистского подхода к жизни.

Я в свое оправдание заметил, что в начале 90-х годов я действительно увлекался народничеством.

Ильич улыбнулся.

— Ну вот, значит, я прав. Марксизм не отрицает, а, наоборот, утверждает здоровую радость жизни.

...Ильич очень любил природу. По окончании конференции мы устроили товарищескую прогулку за г. Таммерфорс к озеру.

Стоял ноябрь, но озеро еще не замерзло. Вдали, над водой—белокурые волнистые гряды тумана. Около берега компания финской молодежи каталась на лодке и пела однотонные, как сумрачный север, финские песни. Девушки в национальных цветных костюмах — голубое с белым. На берегу—скала. Старая сосна, с изогнутым красновато-бурым стволом и обнаженными корнями, низко свесилась с обрыва скалы над водой.

Мы, как дети, поочередно взбегали на скалу, отдыхали, слушая песни...

1928 год.

ЭХ, АНТОН!

(Из очерка).

Хорошо в августовские дни среди полей впивать аромат созревших хлебов. Золотыми шатрами маячат скирды вдоль дороги. Поблескивают посевы подсолнечников в зыбком мареве погожего дня. На высоких и сухих местах спешно заканчивается уборка проса.

Городская пролетка все время подпрыгивает по неровной проселочной дороге, застревает в глубоких колесниках.

Цель моей поездки — попасть в с. Спасско-Александровское, где я в начале 90-х годов прошлого столетия, будучи еще юношей-энтузиастом, учительствовал «сливался с народом».

Через семь-восемь часов тряской езды спускаемся с пригорка к реке Няньге, к селу Александровскому.

Как все переменилось кругом — не узнать! Первое, что бросается в глаза, это железные крыши построек, разбросанных там и сям по всему селу. Меня охватывает волнение. Начинаю считать: «Четырнадцать... пятнадцать»... Зеленые и буро-кирпичные пятна жестяных крыш разбросаны беспорядочно, как в мозаике, и я сбиваюсь со счета. Облик деревни иной, чем прежде. Ведь тридцать лет назад, когда я здесь учительствовал, даже избы, крытые тесом, насчитывались единицами. Обычно крыли только соломой.

Въезжаем в улицу. Много новых бревенчатых изб, и среди них кое-где белые, словно выкупанные в молоке, мазанки. На площади читальня и перед ней группа ребят и подростков: идет репетиция комсомольского театрального кружка. Около некоторых изб—веялки, словно деревянные птицы, гордо и важно выпятившие грудь. Веселы-

ми переборами звенит гармоника. Видно, что дышится здесь радостно и легко: и потому, что праздник, потому, что урожайный год, что так ласков и солнечен день...

И невольно вспоминаю, как когда-то в один из тоскливых, плачущих осенними слезами дней изливал свое настроение в стихах:

...С хрипом предсмертным ворота отворятся,
Шлепанье лаптя по грязи послышится...
Это деревня со смертью борется,
Знать, еще жизнь в ее сердце колышется.
Осень тоскливая, осень ненастная!
Холод, туманы, безлюдье унылое.
Шлепают лапти... И тени ужасные
Сердце терзают с мучительной силою.

А сейчас! Нет, я бы не узнал села моей юности...

I.

Весть о моем приезде молниеносно облетает — из избы в избу — все село. Особенно всполошилось старое поколение, деды и отцы, — одни, участвовавшие в революционном кружке, другие, учившиеся у меня в школе.

Большая горница председателя сельсовета Герасима Чиркина битком набита народом. Возгласы, удивления, объятия...

В горнице чисто прибрано, культурно. На стенах портреты вождей; накрытый скатертью стол заставлен угощениями. У стены кровать: одеяла, подушки в пестрых ситцевых наволочках. В углу — полка с книгами и газетами. Четыре стула и две длинных скамьи тесно заняты сидящими.

В разговоре и отдельных репликах чередуются, как в калейдоскопе, события, лица. Воспоминания прошлого переплетаются с настоящим.

Порассказать есть о чем. В годы моего учительства село Спасско-Александровское являлось одним из центров революционного движения в губернии.

Ко мне подходит весь седой, как обомшелый пень, старик Игнат, вглядывается слабыми, щурящимися глазами и крепко пожимает руку.

— Помнишь меня, Алексеич? Я — Игнат.

Игнату семьдесят лет с лишком. Он — один из немногих «стариков», участников революционного кружка, доживший до сегодняшнего дня.

— Ну, как не помнить, — говорю я. — У тебя же в избе собирались читать «Хитрую механику».

— Вот-вот, — смеется добродушно Игнат.

Серое лицо его, исковырянное морщинами, приходит в движение. И курни бровей добродушно поднимаются на лоб.

— Меня из-за этой самой «механики» жандармы на допрос тягали. Я говорю, что грамоте, мол, не обучен, азов не разбираю. А «жандармский» в ответ: «И не надо грамоту разбирать, чтобы против царя бунтовать. Какие книжки в твоей избе читали?» Притворился я непонимающим, вроде Ивана Бесфамильного... Какие, говорю, книжки? Ну, побаски всякие. Еруслана Лазаревича читали, Бову-королевича тоже... Затопал следователь: «Ты,—говорит, — мужлан, в глаза нам пылью не пороши! Знаю я, какого Бову-королевича»...

В горнице общий смех. Молодчина Игнат! Ловко придумал.

От разговора о революционной работе невольно переходим к воспоминаниям о взаимоотношениях с помещиком, о прежней, нищенской, жизни.

День проходит незаметно.

* * *

Мягкий августовский вечер. Час поздний, завтра надо рано подниматься на работу, но деревня не спит. Комсомольская молодежь расходится из избы-читальни после кино. Полная луна, ныряя в перистых облачках, роняет мерцающие блики на крыши изб и придорожные вербы. Высокий деревянный журавель над колодцем тускло светится.

Сидим на завалинке избы Стенина. Сам Стенин — партиец, секретарь сельской ячейки. Рядом с ним—Антон Чиркин — беспартийный, работник кооперации, и несколько других товарищей.

Помню Антона высоким, бледным подростком с голубыми глазами и вьющимися льняными волосами. Сын пастуха, он работал поденно у помещика на молотилке за 12 копеек в день. Всегда в лаптях, в старом коричневом зипунишке, Антон по вечерам забегал в школу за книгами для чтения. Мы вели «недозволенные» беседы о природе (о происхождении земли, животных и т. д.), рас-

крывали страницы истории человечества, обсуждали вопросы современной политики.

Но вот однажды ко мне явился помещик. В суконной поддевке и с тростью в руке, не снимая круглой серой каракулевой шапочки, он немного нараспев и гнусавя, вежливенько пригрозил:

— Э-э-э, я должен вас предупредить. Ваш ученик Чиркин сеет смуту среди моих рабочих. Э-э... Он говорит, что не надо-де постов, что посты-де выдуманы ради выгоды богатых людей, ну, словом, ведет пропаганду. Н-да! Я этого не могу допустить.

Предупреждение не осталось пустой словесной угрозой: через год я был арестован жандармами. .

Много воды утекло с той поры. Теперь, сидя на завалинке, мы беседуем уже о том, как поднять в нашей освобожденной от ига помещиков и капиталистов стране сельское хозяйство, укрепить смычку рабочих и крестьян, поднять культуру. Говорим о кооперации, о формах работы в деревне.

Антон — статный и красивый мужик, отец крепкой семьи, может быть, дед. У него умные выразительные глаза, окладистая, с завитками борода.

— Сейчас вот партией брошен лозунг — «лицом к деревне», — говорит он. — Это хорошо. Какой же помощи ждем мы от власти? Первым делом надо нам машины...

Видя, что все присутствующие выражают согласие, Антон продолжает:

— В одиночку их, понятно, не осилишь. Мы с братом — он предсельсовета — надумали организовать коммуну. По нашей наметке выходит примерно 23 хозяйства. Эх! Трактор бы нам! Сплю и во сне вижу трактор!

Кто-то добродушно смеется: «Далеко, Антон, ты мыслями мечешь».

— Да, коммуну хорошо бы, но это дело трудное, — веско замечает скупой на слова и серьезный Стенин. — Надо начинать полегче, с производственной артели.

— Что же, можно и артель — не возражаю, — соглашается Антон. — А без трактора никак не обойтиться. Вот наладим хозяйство сообща, да так разделаем под орех свою жизнь! Неужто зря столько лет по тюрьмам маялись? Да всякие горизонты рисовали? А?

Антон запускает руку в пышную, с завитками, русую бороду. Он весь преображается от наплывших мечтатель-

ных мыслей. В мягком отсвете луны видны вспыхивающие огоньки глаз. Я любуюсь им. Красавец Антон! И невольно вырывается:

— Ты, Антон, в партии?

Антон сразу тускнеет.

— Нет, не в партии...

И с оттенком виноватости добавляет:

— Как-то не выколосилось у меня!..

II.

Прошло пять лет. В 1930 году, в разгар борьбы за коллективизацию, я снова попал в Спасско-Александровское. И, конечно, вспомнил о «мечтателе» Антоне Чиркине. Я надеялся застать его полным энергии и сил — ведь начала воплощаться его заветная мечта. Но произошло поиному...

* * *

...На вытоптанной уличной лужайке натрушена просяная солома, бродит рябая курица, осторожно оглядываясь вокруг. К дворовому плетню около навеса, где много тени, прислонен деревянный самодельный топчан, на котором, в ворохе одежды, копошится живое существо.

Я приближаюсь к топчану. Коротко остриженная мужская голова поворачивается в мою сторону. На болезненном, шафранного цвета лице глубоко запавшие глаза загораются радостью встречи.

— Алексеич!

Я нагибаюсь к топчану.

— Антон?! Здравствуй...

Антон с усилием поворачивается в мою сторону, подпираясь локтями. Неосторожное резкое движение вызывает боль, но он силится сдержать себя, и только над переносьем судорожно пробегает глубокая стрелка.

— Вот радость! Помоги-ка мне, Алексеич. А то я, видишь, совсем ослаб, не могу двинуться...

Мы крепко целуемся, я сажусь на краешек топчана, сдвигая к изголовью старые номера газеты «Правда».

— Только и занятий теперь осталось, что газеты, — говорит Антон.

— Голубчик, Антон, что с тобой и давно ли?

— Да вот уж пятый год. Вскоре после твоего отъезда

отнялись и сохнут ноги. Совсем никудышным стал... Мусор!

Острая горечь звучит в его голосе.

— Но что у тебя за болезнь?

— Доктор при рентгенте сказал, что у меня был перебит позвоночник, а потом все заросло хрящом. Все это от побоев, которые вытерпел в пятом году...

Несмотря на отдаленность времени воспоминания сильно волнуют Антона. Он поворачивает голову в мою сторону. Мелкая мучительная зыбь обходит его лицо.

— Как нас били, как били, если бы ты знал! Сперва построили всех в шеренгу, прогнали прикладами сквозь строй. А потом добавляли поодиночке, кому сколько влезет. Меня, как коновода, били особо. До двадцати трех ударов я считал, а потом ничего не помню, потерял сознание. Только одна мысль: скорей бы конец. И еще внутри надежда теплилась, авось, останусь в живых.

Антон на время смолкает, часто и нервно дышит. На висках у него выступают капли пота.

— А теперь и надежды нет, — тихо говорит он. Умру я, Алексеич...

Я не хочу и не могу верить таким словам. Родится желание подбодрить, сказать ему что-нибудь в утешение, влить силы.

— Ну, что ты, Антон! Ты же всегда был передовой человек, вот и газеты читаешь. Должен верить в науку: она поможет.

Антон не откликается, но, видимо, и он перестраивает себя на другой лад.

Я смотрю на его ноги, выбившиеся из-под легкого одеяла. Иссохшие и матово отсвечивающие, они похожи на ноги ребенка и кажутся не то восковыми, не то выточенными из тонкой кости.

— Ну что же, Алексеич, иди, оправься с дороги, — говорит Антон.

К топчану подходят жена Антона, крепкая, красивая, еще не старая женщина, и двое ребят — младшие дети Антона. Старшего сына дома нет: он на работе в колхозе — ударник.

Меня гостеприимно уводят в избу.

День ведренный. Осеннее солнце начинает клониться к горизонту, но в затишье пригревает, как летом. На небе редко увидишь облачко...

Эх, хорошо бы высохшей земле обильно напиться влаги: так нужна она для осеннего сева! Каждая капля — золотое зерно ржи. Но не так велика беда, если дождик подождет два дня, пока не пройдет уборка, пока не закончат срочную молотьбу. Сейчас напряженно кипит в колхозе работа.

Антон охвачен общим настроением. Я чувствую его беспокойство. Вынужденное бездействие для него пытка.

— Не побывать ли нам, Алексеич, на току? — спрашивает он.

Жена Антона подкатывает к топчану оборудованный старшим сыном деревянный стул на колесиках. Мы берем Антона на руки, как маленького ребенка, и усаживаем в немудрящую повозку. Я подталкиваю повозку сзади. Железные колеса тяжело скрипят. Извозчик, с которым я приехал, берется за рычажок, прикрепленный к передней оси, и мы осторожно шагаем по неукатанной дороге.

Я думаю о многом. Мысли причудливо кружатся в голове. Невольно вспоминается тургеневский рассказ «Живые мощи», читанный еще в детстве. Встает образ Лукерьи. Какая, однако, пропасть лежит между той эпохой и настоящей! Лукерья и Антон, что между ними общего?

Мне вдруг становится радостно и легко от сознания того нового, чего до сих пор никогда не бывало в истории человечества. Антон больной, почти умирающий, не «выбыл из строя», как жаловался утром, не утратил связи с действительностью, с массами, а сохранил энтузиазм и волю к жизни.

На спуске с горы повозку встряхивает — это вызывает у Антона боль, но он почти не замечает ее, он весь сосредоточен на открывшейся перед ним картине.

Мы на току. Пара лошадей кружит зубчатую шестерню молотилки. Бабы и девки сгребают мякину, и от нее кверху поднимается прозрачное облачко пыли. Антон жадно набирает грудью воздух и шутливо кричит, насколько хватает голоса:

— Сми-иррно!

— Здо-орово, председатель!

Поворачивая голову к Антону, но не прерывая работу, дружно отвечают все на приветствие. Антон — не председатель, даже не член правления колхоза, но его знают

и любят, его уважают... И на просветлевшем лице Антона рассыпается улыбка радости.

Под лучами солнца, в людском гомоне, в красоте природы и труда — так хорошо вокруг!

— Дружней, ребятки, дружней! Не то расчет всем дам, — шутливо грозится Антон.

У одного из ометов группа отдыхающих женщин аппетитно ест яблоки. К колхозу перешел сад, и в нынешнем году—большой урожай яблок. Антон бурлит:

— Эй, молодки! Вы чего отстаете?

— Наведи, Антон, порядок! Построже на них!... — подбадривает его погонщик лошадей.

— Есть! — смеется Антон. — Коли я сам не работаю, то хотя бы за порядком понаблюду.

Мы проводим на току около часа. Антон счастлив и напоминает мне того прежнего неутомимого Антона, которого я знал в течение многих лет.

III

И вот эпилог.

Настоящий очерк был написан вчерне, вскоре после свидания с Антоном. В конце 1930 или начале 1931 гг. я сговорился с редактором К. С. Еремеевым относительно помещения этого очерка в журнале «Красная нива».

По зимою 1931 года случайно встречаюсь в Москве с одним из колхозников Спасско-Александровского. И первым делом...

— Как Антон?

Товарищ безнадежно махнул рукой.

— Плохо!

И он сообщил мне печальную новость. За последнее время физические мучения Антона увеличились, болезнь усилилась настолько, что он совершенно не мог обходиться без посторонней помощи. Он попросил подвесить к кольцу на потолке веревочные вожжи, чтобы в случаях надобности приподниматься при помощи собственных рук, не беспокоя близких. Просьбу исполнили. А в одну из мучительных ночей Антон повесился на вожжах.

Я был совершенно ошеломлен, никак не мог принять ни сердцем, ни мыслью этого поразительного факта, не вязавшегося никак с моими представлениями об Антоне.

Происшедшее казалось мне невероятным, невозможным. Все, что я написал об Антоне и еще хотел написать, теперь, мне казалось, потеряло всякий смысл, стало ненужным.

Эх, Антон! Как мог ты, старый революционер, энтузиаст, решиться на такое неоправданное в отношении себя и других дело?

Я ходил, как человек, потерявший ариаднину нить в лабиринте своих художественных образов и исканий. Думал: надо съездить на место, выяснить подробности.

И в то же время я сомневался. Что дадут мне детали, когда непонятно самое главное?...

Но вот однажды, после разговора об Антоне с его братом Герасимом, секретарем ячейки Стениным и другими товарищами, мне пришла мысль: а ведь Антон остался бы жив, если бы он был коммунистом. Я почувствовал, что в этой мысли заключается большая доля правды, вспомнил его слова: «Не выколосилась моя жизнь».

Потом, читая о писателе-орденоносце Николае Островском, я ясно представил то, что творчески искал так долго.

Да, это несомненно. Если бы Антон был коммунистом, он остался бы жив. Я говорю не о формальной принадлежности к партии, а о глубоком проникновении, глубоком освоении партийного мировоззрения.

Николай Островский! Он также испытал моменты мучительных переживаний... И в лице героя Павла Корчагина, пораженного слепотой, невольно думал: «Если действительно нет больше возможности продвижения вперед, если все, что проделано для возврата к работе, слепота зачеркнула и вернуться в строй уже невозможно— нужно кончать».

Но Островский нашел в себе силы спросить:

— Все ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?

Николай Островский — достойный и лучший член пролетарской семьи, закаленный боец комсомола.

А Антон?

У него не хватило сил преодолеть эту стихию. А одновременно с тем сама окружающая его среда была еще не настолько организованна, чтоб поддержать его.

Вот разгадка самовольного ухода Антона из жизни.

Смерть Антона ужасна.

Смерть Николая Островского величественно трагична. Миллионы граждан нашей страны ощутили в своем сердце любовь, скорбь и почтение к безвременно сгоревшему герою, сотни тысяч прошли в траурном зале Дома писателей мимо гроба, утопавшего в цветах и венках, чтобы запечатлеть в своей памяти на всю жизнь строгое лицо с глубокими затененными впадинами навеки закрытых глаз.

Две жизни — две смерти. Они различны, но пусть над трупами товарищей горит пламенная ненависть к гнету прошлого и растет светлая вдохновляющая вера в нового — коммунистического Человека.

СТИХИ И РЕВОЛЮЦИЯ

В ноябре 1907 г. во время общероссийской социал-демократической конференции в Гельсингфорсе фракция большевиков совещалась по вопросу о неучастии социал-демократов в буржуазной прессе. Проектируемая резолюция была заострена главным образом против «товарищей» из кадетско-меньшевистской газеты «Товарищ». Почти вся большевистская легальная пресса была закрыта, но меньшевики, имея, как тогда выражались, «вхожесть в переднюю буржуазии», использовали свое положение для бешеной фракционной борьбы против большевиков.

Владимиру Ильичу, который руководил совещанием, был задан вопрос: «А как быть с художественными произведениями — стихами, рассказами и т. д.?» Многим из участвовавших на собрании самая постановка этого вопроса показалась странной: где же у большевиков собственные поэты и беллетристы? И вопрос о художественной литературе не подвергался на конференции обсуждению. Это показывало, насколько слабы в те годы были в рядах партии кадры художников слова. Но вместе с тем это отнюдь не говорило о том, что наши партийные товарищи снижали то огромное значение, какое имеет художественная литература в революционной борьбе и политическом воспитании масс. Напротив, начиная с легальной большевистской газеты 1905 г. «Новая жизнь» и кончая всеми последующими изданиями, большевистская печать стремилась привлечь писателей, произведения которых могли бы служить целям революционной борьбы.

Всем известны высказывания Ильича по вопросу о значении художественного слова. И, обращаясь к прошлому, вспоминая первые проявления растущего рабочего движения, необходимо отметить, что художественная

литература широко использовалась в революционной борьбе.

Если сейчас говорят: «Стихи делают сталь», то с неменьшим правом можно сказать: «Стихи помогли делать революцию». Вспоминаются дни революционного предгрозья — конец 90-х, начало 900-х годов, когда на заре рабочего движения изживались кружковщина и экономизм, а на всех полулегальных и нелегальных собраниях горячо и упорно спорили, что важнее: экономика или политика. Брошюр и книг, освещающих задачи и пути революционной борьбы, в те годы было очень мало. Легальная печать была зажата в цензурные рогатки. По меткому выражению А. М. Горького, «цензоры бродили по рукописям, как свиньи в огороде». Но читатели учились и с успехом достигали умения улавливать сокровенный смысл даже в намеках, в символах. Пишущему эти строки часто приходилось быть в своих произведениях символистом поневоле. Исключительной, непревзойденной популярностью пользовались такие произведения, как «Песня о Соколе» и «Песня о Буревестнике» М. Горького. На них воспитывались рабочие, им старались подражать начинающие писатели.

Понятно, что сильное впечатление должны были производить те нелегальные рукописи и листки, в которых правдиво и горячо, без всяких маскировок и сокрытий, показывалась революционная правда жизни. Нелегальные стихи выходили в виде прокламаций, переписывались, заучивались наизусть, распевались, пересылались — часто с невольными искажениями — за границу. О том, как впечатлялась в сознании и чувствах молодежи вся эта «нелегальщина», можно судить по следующим, на первый взгляд незначительным, фактам.

Один из старых большевиков П. И. Воеводин, рабочий, произнесший известную речь во время суда над саратовскими демонстрантами в 1902 г., вспоминал, как когда-то, после чтения народовольческого стихотворения Ольхина «У гроба» он и другие слушатели были настолько охвачены революционным экстазом, что впору было хоть сейчас же броситься в бой, на баррикады... И мне запомнился подобный случай: на многолюдной вечеринке у писателя Гарина-Михайловского при встрече нового года после чтения этого стихотворения вся аудитория была растрога-

на до слез и многие бросились крепко сжимать в объятиях юного чтеца.

Мелочь, штрих... Но этот штрих рисует революционные романтические настроения тех лет.

В связи со студенческим движением и избиением демонстрантов 4 марта 1901 г. у Казанского собора в Петербурге, мной был написан ряд стихотворений — «Студенческая марсельеза», «Опричники» и др. Часть стихотворений была немедленно распространена в гектографированных списках и даже попала за границу. Некоторые из них комитетом студенческих организаций были расклеены в стенах университета, что вынудило университетское начальство даже издать по этому поводу специальный «устрашающий» циркуляр.

Время было такое, что стихи с революционным содержанием становились прокламациями, а прокламации писались, как стихи. Под ударами поднимающихся революционных волн рабочего движения вынуждена была дрогнуть даже такая цитадель экономизма, как газета «Рабочая мысль», и напечатать мои стихи явно политического содержания.

Приблизительно в то же время, в 1900 году, от известной общественной деятельницы А. М. Калмыковой я получил, так сказать, «социальный заказ» — написать для рабочих стихи, отвечающие запросам политического момента. Стихи должны были удовлетворять следующим требованиям: 1) быть художественными, 2) доступными для масс и 3) агитационно-политическими, подчеркивающими необходимость борьбы с царизмом.

Для облегчения работы у меня имелся подстрочный перевод песни польских пролетариев. Стихотворение, написанное мной на тему этой песни, начиналось словами: «Кто добыл из тьмы рудников миллионы». Затем, для усиления политического оттенка, я (по совету Александры Михайловны) поставил: «Кто золото добыл для царской короны»... «Песня пролетариев» была переслана А. М. Калмыковой за границу и напечатана в женевском сборнике «Песни борьбы» (изд. 1902 г.).

Кто золото добыл для царской короны,
Кто сталь для солдатских штыков отточил,
Воздвиг из гранита и мрамора троны,
В ненастье и холод за плугом ходил?
Кто дал богачам и вино и пшеницу
И горько томится в нужде безысходной?
Не ты ль, пролетарий, рабочий голодный?..

Стачки, столкновения с властями и администрацией на заводах, крупные политические события, особенно демонстрации — вот главные темы подпольных стихов того периода. Они очень часто помещались в летучках, прокламациях, газетах. В те годы действие прокламаций и листовок, в которых рассказывалось о самом главном и нужном в жизни, об эксплуатации, насилиях, борьбе с угнетателями, можно сравнить только с действием разрывного патрона. Об этом в стихотворении «Подполье» (1904 г.) было сказано так:

Сколько гневных, огневых разящих слов,
Сколько дум таит убористый петит.
Мы зальем завод потоками листов,
В каждой букве, в каждой строчке — динамит.

И вполне понятно, что стихи на смерть Н. Э. Баумана, убитого в 1905 году черносотенцами, были выпущены отдельной листовкой от имени московского комитета РСДРП.

Участники революционной борьбы придавали большое значение художественной литературе, хотя она всегда являлась для них только частью общепролетарского дела. Мы знаем крупных художников слова, как критик т. Воровский или т. Ольминский. Но многим ли известно, что, например, покойный наркомздрав З. П Соловьев имел способности к живописи и страстно любил литературу, делая критические доклады о поэте Е. Тарасове; или старый большевик т. Сыромолотов — автор очень многих талантливых сатирических стихотворений периода 1905—1913 гг. под псевдонимами «Федич», «Тит Подкузьмихин» и др...

Но эта революционная литература прошлого еще мало освоена нашими литературоведами и требует изучения.

* * *

В период 1912—1914 гг. я жил нелегально в Финляндии под чужим именем. Однажды в Куоккале ко мне зашла Конкордия Николаевна Самойлова и сообщила, что вместо «Звезды»* будет выходить другая газета, массовая, рабочая («Правда»). Мы сговорились относительно

---

* «Звезда»—большевистская газета, выходила до 1912 года, имела сравнительно ограниченный тираж.

тематики. Узнав, что я жил и работал не только в городе, но и в деревне, «Наташа» обрадовалась:

— Вот и хорошо, давайте нам побольше на деревенские темы.

Для первого номера мной был написан рассказ «Красный цветок». Рассказ был помещен во втором номере «Правды». Редакция по цензурным соображениям сделала несколько «смягчающих» купюр, например, в заглавии был выброшен эпитет «красный»... Но несмотря на это, второй номер «Правды» все же был конфискован за рассказ «Цветок» и стихи А. Колючего «Сильная грудь и колючие руки».

Цензурные условия того времени были жестоки. Революция 1917 г. открыла широкие возможности и перспективы для пролетарских писателей. Совершенно логично и неизбежно было, что теперь не кто-либо другой, а именно газета «Правда» взяла в свои руки инициативу и стала во главе пролетарских писателей и художников. По почину «Правды» в середине 1917 г. было создано первое объединение пролетарских художественных сил. Вкратце история этого объединения такова.

Как-то в середине мая К. С. Еремеев предложил мне написать воззвание к поэтам, беллетристам и художникам.

Это воззвание появилось в пятьдесят первом номере «Правды» от 20 мая 1917 г.

«К поэтам, беллетристам, художникам».

«...Полного расцвета пролетарское искусство, — говорилось в нем, — достигнет, конечно, только при социалистическом строе, но уже теперь, когда сброшена часть оков, лежащих на пролетариате, искры свободного искусства должны разгореться в яркое пламя.

Этого властно требует жизнь. Этого требует революция. Призываем поэтов, беллетристов и художников сплотиться при издательстве «Прибой» в кружок пролетарских искусств. Кружком будет издан ряд художественно-литературных сборников. Присылайте свои произведения, рассказы и стихотворения редакции «Правды» и «Прибоя».

К чести смелого и талантливого В. В. Маяковского следует отметить, что он явился на первое заседание объединения пролетарских писателей и присоединился к нашему лозунгу интернационализма.

Так создалась вокруг «Правды» первая организация, названная «Обществом пролетарских искусств». Общество разделилось на секции.

Во время выборов в районные думы особенно энергично работала секция рабочих-художников, давая плакаты, лозунги.

Был подготовлен к печати сборник «Под знамя «Правды»...

Июльские дни и разгром «Правды» помешали выходу сборника, и наша организация на время рассыпалась, возродившись уже после октябрьских дней.

1934, 1937 гг.

ПУТИ ПРОЛЕТАРСКОГО ПИСАТЕЛЯ

(Автобиографические заметки)

Статья написана А. А. Богдановым в 1927 году. Готовя ее для сборника, автор внес некоторые дополнения. Статья публикуется в этой, последней, редакции.

«Поэты родятся, а не делаются», — так гласила римская пословица.

Но ясно, что «мало родиться поэтом», надо еще им «сделаться», надо иметь соответствующие предпосылки в жизни. Не помню кто, кажется Дарвин, сказал, что даже у гения в его совершенных произведениях большая часть должна быть отнесена не столько за счет таланта, сколько за счет техники искусства и настойчивости в труде.

Имелись ли в дореволюционной капиталистической обстановке условия для того, чтобы мог выковаться писатель-художник социалист?

Еще в 1910 или 1911 году я списался по этому вопросу с М. Горьким. Ответного письма М. Горького у меня не сохранилось: оно погибло вместе с другими материалами в дни белогвардейщины на Дальнем Востоке. Но в общем М. Горький высказал мысль, что важно не теоретическое восприятие социалистических идей, а именно выковывание в писателе социалистического мироощущения. Помню, письмо заканчивалось словами: «Что бы Вас ни опрокидывало, не поддавайтесь. Жму руку. М. Горький». Письмо было хорошее, но оно не удовлетворило меня. Легко сказать — не поддаваться! Ведь это было время, когда буржуазные условия полонили тебя буквально в каждое мгновение твоего «бытия».

Считаю, что затронутый мною вопрос имеет большой общественный интерес, особенно теперь, когда задача создания советской литературы поставлена в порядок дня.

и потому останавливаюсь подробней на условиях работы писателя-революционера, писателя-социалиста в прошлом. Материал беру из личного опыта.

В детстве мое развитие шло необычайно быстро. Сын разночинца, я уже с 1884 г., когда мне было 12 лет,* вынужден был зарабатывать себе кусок хлеба уроками и являлся помощником в семье. Я штудировал Писарева, Добролюбова, Чернышевского, Успенского и идеалом себе ставил Д. С. Милля, начавшего писать в отроческом возрасте свои историко-экономические статьи.

Мне исполнилось 15 или 16 лет, когда в моем мировоззрении, благодаря соприкосновению с политическими ссыльными города Пензы, произошел резкий перелом. Постепенно стало созревать решение идти на практическую революционную работу. При окончании курса духовной семинарии мне было выдано так называемое «волчье свидетельство» (с четверкой за поведение) за участие в нелегальных кружках и найденные при обыске атеистические и другие запрещенные книжки.

И вот, в 1893 г., горячим, экзальтированным юношей, но с неопределившейся революционной идеологией, я пешком, с бурлаками,** отправился в деревню, в народ, и поселился в качестве учителя в селе Спасско-Александровском,*** Петровского уезда, Саратовской губернии. А в 1897 г. за распространение революционной литературы был арестован и заключен в саратовскую тюрьму.

Революция помимо воли захватывала властно. По своим убеждениям я принадлежал к левому крылу социал-демократии, входил потом в большевистскую фракцию и был партийцем-профессионалом, подпольщиком. В момент революционного подъема партийная работа поглощала всего, целиком.

Только в конце 1899 г. создалась возможность отдаться литературной работе. Это было начало моего приобщения к литературе — до того времени печатание в газетах корреспонденций и стихов носило случайный характер. Надо сказать, что внешние условия для работы в одном отношении были благоприятные: критики (Е. Андреевич) и редакции некоторых журналов встретили меня необы-

---

* Неточность. В 1884 году А. А. Богданову было 10 лет.

** «Бурлаками» в Пензенской губернии назывались сельскохозяйственные рабочие—батраки, чаще всего сезонники.

*** Сейчас Кондольского района, Пензенской области

чайно тепло. Тех мытарств, какие испытывали многие начинающие авторы, мне выносить не довелось. Я сразу же вошел в широкую литературу, приобрел популярность, печатался в «Жизни», «Журнале для всех» и т. д. Одновременно был связан с Петербургской организацией РСДРП и написал ряд нелегальных стихотворении, причем некоторые из этих стихотворений тайно передавал из «Крестов» и «Предварилки»* жене своей Елизавете Никифоровне**, принимавшей также активное участие в партийной работе.

В 1901 г., после заключения в «Предварилке» и «Крестах», я был выслан в Саратов. Начавшийся бурный подъем революционной волны прервал мою литературно-художественную работу. Мог ли партиец-большевик ограничиваться только тем, чтобы замкнуться в писании литературных произведений, и ничего более?

Об этом не приходилось даже и помышлять. В «Фаусте» Гете говорится: «Мой друг, теория суха, но зелено младое древо жизни». Литературная работа мне казалась только небольшой частицей настоящего дела. А «младое древо жизни» было тогда особенно «зелено». По складу своей натуры и темпераменту я не мог делать ничего наполовину. Жизнь звала на более решительную борьбу, на баррикады. И художник-революционер, выражаясь языком прошлого, неизбежно должен был менять «лиру» на «меч».

Мы, участники пролетарского движения, становились в это время солдатами боевой армии, думали только о «расширении» и «углублении» революционного движения, о подготовке к вооруженному восстанию.

В моей литературной работе в дни революции наступил некоторый перерыв. Стихи и рассказы вырывались только иногда, в минуты, когда создавался досуг.

Газетные статьи, прокламации, организационная работа, агитация — вот куда отдавались все силы.

Годы реакции, с 1909 по 1915 гг., являются в моей жизни периодом очень продуктивной литературно-художественной деятельности. За это шестилетие я напечатал не менее 60—70 печатных листов беллетристики и стихов

---

* Названия петербургских тюрем для политических заключенных.

** Е. Н. Заварина, жена и друг А. А. Богданова, старый большевик (с 1903 года).

(больше беллетристики). Печатался в «Правде», во многих наиболее прогрессивных журналах, а также в мелких изданиях, в альманахах и т. д.

События 1917 г. несколько выбили меня из «художественно-творческой» колеи. Вначале я принял участие, как один из инициаторов, в создании в г. Петербурге общества пролетарских искусств (впоследствии Пролеткульта). Затем, будучи отрезан чехами в Сибири, последующие годы провел в активной борьбе на Дальневосточном фронте против интервенции и белогвардейщины, возглавляя одно время владивостокский пролеткульт. И только в 1925 г. я возвратился снова от организационной стихии к художественному творчеству.

Чтобы читатели представляли себе весь трагизм условий, в которых приходилось работать писателю-революционеру, приведу несколько деталей. В дни самодержавия писать революционные произведения приходилось урывками, а написанное прятать, так как каждое такое произведение являлось материалом для обвинительного акта. В один из тревожных месяцев 1903 г., когда ожидался налет охранников на квартиру, я ходил к знакомым работать над своей поэмой «Мужицкая доля».

Но и такая конспирация не помогла. В Саратове, в 1903 г., на квартире у одного из моих знакомых была конфискована рукопись моей книги о декабристах—труд, на который я потратил несколько лет.

Не помню, в Самаре или в Казани, погибла переданная на хранение поэма «Коммуна» («Парижская коммуна»).

Чтобы сохранить написанное, приходилось прибегать к тому остроумному средству, которое рекомендовал гениальный Гейне в своей поэме «Германия», — провозить контрабанду «в голове», то есть заучивать произведения наизусть.

По такому способу я работал над своей трилогией «Бездомные» (первая часть — «Бездомные», вторая — «Сказка любви» и третья—«Перед лицом вечности»). От трилогии уцелела только первая часть и куски второй.

Наконец, последняя убийственная утрата. В период с 1910 по 1916 г. я работал над романами на материале революции 1905 года—«На Татарском болоте» (город) и «Мужик» (деревня). Опубликование этих произведений до 1917 г. было невозможно, отчасти по цензурным усло-

виям, отчасти потому, что хотелось дать более совершенные вещи. Рукописи были уничтожены в дни белогвардейщины хозяевами квартиры, где хранился весь мой архив.

Однажды в российской печати был помещен мой некролог. Писали, что я был расстрелян колчаковцами. Это была ошибка. А вот уничтожение моих многолетних работ—почти такой же чудовищный факт, как настоящий расстрел. Это—потрясающее событие в жизни писателя. Враги революции с их клевретами не только терзали физически, они издевались подлей, они ограбили сокровищницу моего творчества и мысли.

Коснусь теперь еще одной стороны работы художника-социалиста. Один из журналистов в статье о Демьяне Бедном говорит, что «каста» буржуазных критиков умела казнить писателей, связанных с «революционно-пролетарскими кругами» (как, например, Серафимовича), тем, что замалчивала их. Это—еще полбеды. Другая беда для писателя прежнего времени заключалась в том, что он работал в буржуазном окружении, в условиях цензурного зажима. Кто-то из критиков, говоря о причинах упадка таланта Л. Андреева, употребил выражение—«в обезьяньих лапах». Вот именно, «обезьяньи лапы» буржуазного строя тысячами разных неизбежностей давили писателя-социалиста, писателя революционного бойца, как только он становился профессионалом.

При таких условиях вполне естественно, что мои легальные произведения не имели желаемой ценности, да и не отражали характера моего творчества (это был слабый писк, когда следовало звучать громами), а издание нелегальных сборников было связано с большими трудностями, являлось почти невозможным.

В 1907 г. была сделана одна попытка (с одобрения Владимира Ильича Ленина) сговориться с т. Назаром (Накоряков Н. Н.), чтобы отпечатать на Урале сборник моих революционных стихотворений. Но вскоре после Гельсингфорской конференции меня арестовали, и при аресте были конфискованы рукописи. Меня заключили в тюрьму и возбудили одно из оригинальнейших дел. Обвинительный акт был составлен весь в стихах—это были цитаты из моих произведений.

Только в 1916 году между мною и книгоиздательством «Жизнь и знание», которым ведал В. Д. Бонч-Бруевич, состоялось соглашение об издании моих сочинений. Прав-

да, последующие события помешали осуществлению соглашения: издательством были выпущены лишь два тома моих рассказов—«Под ласковым солнцем» и «Волжская кипень»...

Вспоминая все это, я, старый писатель, верю в нашу советскую молодежь. Перед ней широкий путь и иные возможности. Только трудись! Таких условий для творчества еще не имел никто.

1927 г.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — русский писатель, прозаик и драматург. Умер в эмиграции в Финляндии.

Бауман Николай Эрнестович (1873—1905) — видный революционер-большевик. 18 октября 1905 г. убит черносотенцем во время демонстрации в Москве.

Бехтерев Владимир Михайлович (1857—1927) — выдающийся русский психиатр и общественный деятель.

Блох Элеонора Абрамовна (1881—1943) — советский скульптор.

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1955) — старый большевик, один из ближайших товарищей и помощников В. И. Ленина. Доктор исторических наук, редактор ряда периодических изданий большевистской печати. С первых дней Великого Октября до 1920 года — управляющий делами СНК.

Бюхнер Фридрих Карл Христиан Людвиг (1824—1899) — немецкий буржуазный физиолог, представитель вульгарного материализма.

Верн Жюль (1828—1905) — французский писатель, автор научно-фантастических, приключенческих романов.

Воровский Вацлав Вацлавович (1871—1923) — профессиональный революционер, видный деятель большевистской партии, советский дипломат, публицист, литературный критик.

Дарвин Чарльз (1809—1882) — великий английский естествоиспытатель, творец эволюционного учения.

Додэ Альфонс (1840—1897) — известный французский писатель.

Златовратский Николай Николаевич (1845—1911) — русский писатель-народник.

Канова Антонио (1757—1822) — видный итальянский скульптор.

Карпинский Вячеслав Алексеевич (родился в Пензе в 1880 году) — старый член КПСС, литератор-пропагандист, доктор экономических наук.

Лавров-Миртов Петр Лаврович (1823—1900) — русский социолог и публицист, идеолог народничества. Л. — автор написанных под псевдонимом *Миртов* «Исторических писем».

Локк Джон (1632—1704) — видный английский философ.

Лондон Джек (1876—1916) — выдающийся американский прогрессивный писатель.

Левитов Александр Иванович (1835—1877) — русский писатель-демократ.

Лейкин Николай Александрович (1841—1906) — русский писа-

тель-журналист; в 60-х гг. сотрудничал как юморист в журнале «Искра».

Лесков Николай Семенович (1831—1895) — выдающийся русский писатель.

Молешотт Якоб (1822—1893) — буржуазный ученый-физиолог, представитель вульгарного материализма.

Накоряков Николай Никандрович — старый большевик, товарищ А. А. Богданова.

Ольминский Михаил Степанович (1863—1933) — один из старейших деятелей революционного движения в России, большевик с 1903 г., литератор. Редактор журнала «Пролетарская революция».

Помяловский Николай Герасимович (1835—1863) — выдающийся русский писатель-демократ.

Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — русский ученый, исследователь русской и зарубежной литературы.

Ремизов Алексей Михайлович (1877 г. рождения) — второстепенный русский писатель, мистик.

Решетников Федор Михайлович (1841—1871) — русский писатель-демократ.

Рид Томас Майн (1818—1883) — английский писатель.

Руссо Жан-Жак (1712—1778) — великий французский просветитель, писатель и философ.

Самойлова Конкордия Николаевна (партийная кличка «Наташа») (1876—1921) (литературный псевдоним «Н. Сибирский») — профессиональная революционерка.

Свирский Алексей Иванович (1865—1942) — русский советский писатель. В его произведениях о дореволюционной действительности отражены растущее сопротивление народа и ненависть его к угнетателям.

Соловьев Евгений Андреевич (псевдоним «Андреевич») (1866—1905) — русский критик и историк литературы.

Соловьев Зиновий Петрович (1876—1928) — видный деятель советского здравоохранения. Член ВКП(б) с 1898 г.

Тарасов Евгений Михайлович (1882—1943) — поэт-революционер. В советские годы посвятил себя исследовательской деятельности в области экономических наук.

Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — выдающийся русский писатель, революционный демократ.

Филипченко Иван Гурьевич (1887—1939) — поэт-большевик.

Цицерон Марк Туллий (106—43 годы до н. э.) — выдающийся оратор, адвокат, писатель и политический деятель древнего Рима.

Шеллер-Михайлов Александр Константинович (1838—1900) — русский писатель-демократ. Его романы были популярны среди демократически настроенной молодежи 60—80-х годов.

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Алексеевич Богданов.

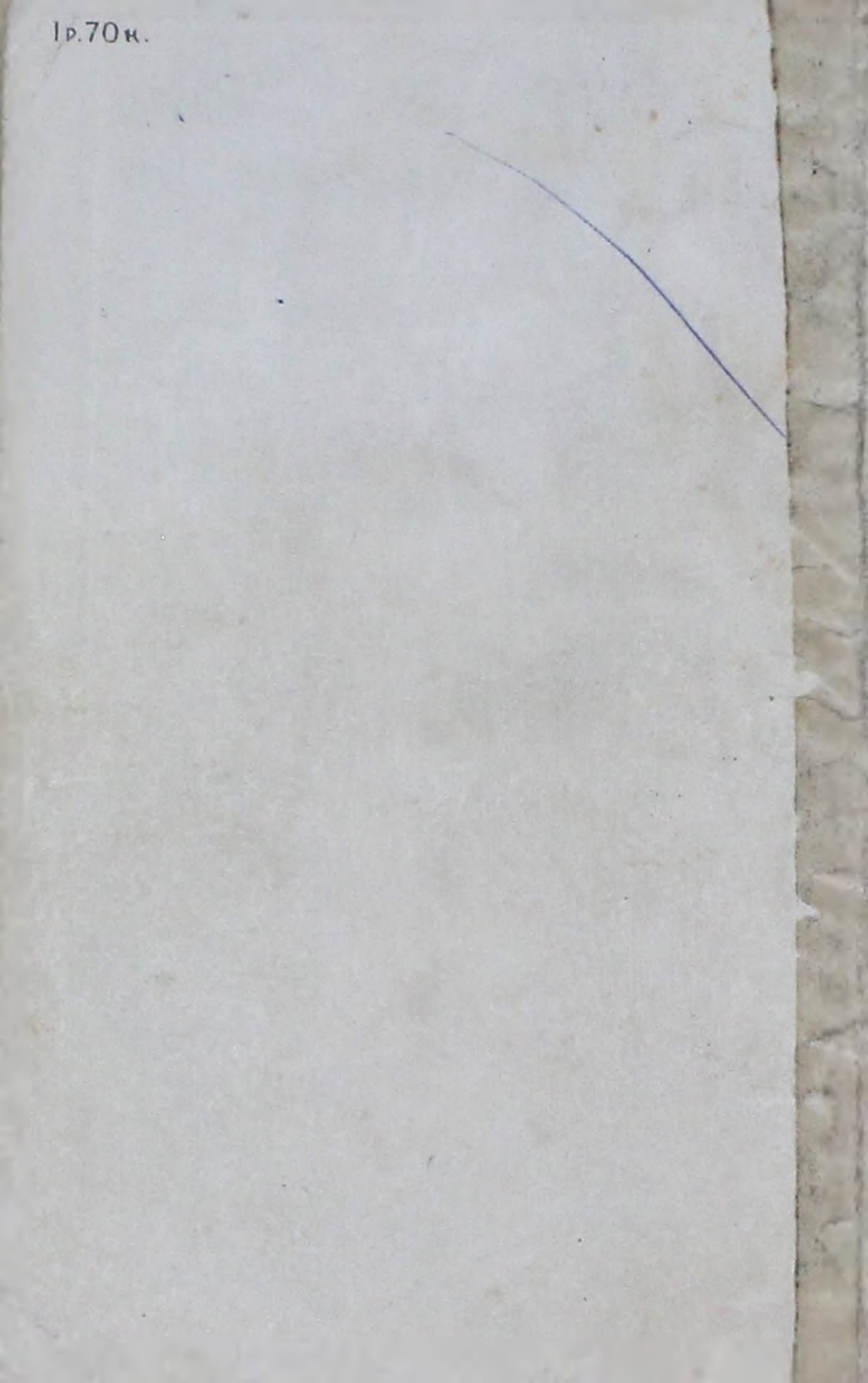
В старой Пензе

Редактор *А. Васильев.*
Обложка художника *Е. Жукова.*
Художественный редактор *И. Савчук.*
Технический редактор *Е. Воронкова.* Корректор *А. Храмова.*

Сдано в набор 14/VII—1958 г. Подписано к печати 22/IX—1958 г.
Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Объем физ. п. л. 3,25, условн. печ. л. 5,33,
уч.-изд. л. 5,546. Тираж 5 000. ФЛ04458. Изд. № 91.

Пензенское книжное издательство
Пенза, улица Кирова, 65.

Заказ 2615. Пензенская областная книжная типография.
Цена 1 руб. 70 коп.


1р.70к.